

Urbi: Литературный альманах. Выпуск шестой

БАДЕН-БАДЕН

Санкт-Петербург, 1996

urbi et urbi

Urbi

Литературный альманах
издаваемый Владимиром Садовским
под редакцией
Кирилла Кобриня и Алексея Пурина

Выпуск шестой

Нижний Новгород — Санкт-Петербург

БАДЕН-БАДЕН

Санкт-Петербург, 1996

ББК 84. Р2

У 69

У 69 Urbi: Литературный альманах. Выпуск шестой.
Баден-Баден. — СПб., 1996. — 176 с.

ISBN 5-7183-0107-7

Почтовые адреса редакции:

Россия, 198005, СПб., а/я 69

**Россия, 603043, Нижний Новгород,
проспект Кирова, 4, кв. 9, Кириллу Кобрину**

**Компьютерное макетирование
Н. П. Егоровой и Ю. А. Смиренникова**

Издательство АОЗТ «Атос»

Лицензия ЛР № 670030 от 16.07.91.

Пописано в печать 13.11.95. Формат 60×90/16.

Печать офсетная. Печ. л. 11. Тираж 500. Заказ 530.

Издательство АОЗТ "Атос" 197198 Санкт-Петербург, Б. Пушкарская, 10

Типография АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева".

195220 Санкт-Петербург, Гжатская 21.

ISBN 5-7183-0107-7

- © Кирилл Кобрин, составление
- © Алексей Пурин, составление
- © Владимир Садовский, составление

К ЧИТАТЕЛЮ

But what did she give to Pruda Ward and Katty Kanel and Peggy Quilty and Briery Brosna and Teasy Kieran and Ena Lappin and Muriel Maassy and Zusan Camac and Melissa Bradogue and Flora Ferns and Fauna Fox-Goodman and Grettina Greaney and Penelope Inglesante and Lezba Licking like Leytha Liane and Roxana Rohan with Simpatica Sohan and Una Bina Laterza and Trina La Mesme and Philomena O'Farrell and Irmak Elly and Josephine Foyle and Shakeshead Lily and Fountainoy Laura and Mary Xavier Agnes Daisy Frances de Sales Macleay?

James Joyce. «Finnegans Wake»

Пора на каникулы. В отпуск. Бросить все, рвануть и... Унежить душу. Унежить тело. Где-нибудь там, за пограничным пределом, за пределом временным: на баснословных курортах манишечного фин де сьекля, оффенбаховской бель эпок. Где по гравию дорожек усатые кавалеры выгуливают бледных дам, звонких собачек; где лифтбой в щегольских круглых шапочках изрядно орудуют не только подъемником, но и глухим вождением некоего британского джентльмена; где монструозные русские старухи трясут над зеленым сукном фальшивыми челюстями и подлинными бриллиантами; где глухой парковой аллежкой крадется за наместником террорист, а за пышным турнюрком худой воздыхатель; где. Где? В Бальбеке? Бате? Мариенбаде? Висбадене? Где сердцу русскому милее?

В ответ раздается гонг, созывающий пассажиров нашего курорта в крахмально-хрустальную столовую: «Баден-Баден!» Баден-Баден! «И Баден мой...» — писал Вяземский. Сюда стремился (и стремится!) русский литератор вслед за седовласым либералом Иваном, за нервическим почвенником Федором. Здесь, на водах, он лечит алкогольный гастрит, общественно-политическое несварение, финансовый простатит. Здесь пушистым пелом опадают лучшие его дни вдали от. Только на баденских аллеях мирно раскланяются литературные «кавалеры-апокрифы», «раззурмяненные львицы», «бывших мятежей потомки», «давно известные кокетки». И не только разойдутся, а, пожалуй, приволокнут на досуге. Вон расхристанный футуристик целует ручки почтенной критикессе, вон бородатый пейзаист подмигивает худощавой вальвописательнице. Каждой твари по паре.

Русская словесность смотрится в зеркало. Что она видит? Русскую словесность. Баден видит Бадена. На самом деле, ведь, все равно, кто что пишет и как. И пишет ли вообще. Главное: есть способ жизни; он называется «русская словесность». Если Господь создал такую жизнь, то есть, значит, и «такая жизнь» после смерти. Рай. Ад. У каждой словесности свой. «Ад» французской расположен в Мариенбаде (Мариен-б-Аде); этот циклический кошмар, где персонажи параноидально твердят одни и те же реплики, описал Роб-Грие. Преисподня русской литературы расположена, наверное, на страницах московского издания «Ad Marginem». Но Рай — только в Баден-Бадене! Причем Рай, сконструированный по сведенборговским принципам, — он ничем не отличается от самой жизни, разве что иногда легким эфирным ветерком...

Мгновенный, случайный, размытый снимок этого Рая, нашего Авалона, Баден-Бадена мы предлагаем читателю «Urbi». «Люблю вас, Баденские тени».

P. S. «Baden» — по-немецки — купаться. Умницы-немцы завели у себя целое Великое герцогство, предназначенное исключительно для этого гигиенического и укрепляющего занятия. А наша литература? Грязью и потом заросла она, перефразируя одного из авторов этого номера. Пора, господа, мыться! Купаться, купаться!

Баден-

**Приехал в Баден-Баден. Отца Янышева
не застал. Он в Париже. Кончил в курзале.
Музыка, игры, журналы и Никита Всево-
ложский.**

П. А. Вяземский. Старая записная книжка

РЫБКИ

Почему «Рыбки»? — спросит, недоумевающая, случайный читатель опубликованных ниже заметок. Ответ простой: «Такие длинные и узенькие — словно рыбки», — произнесла одна молодая писательница, увидев сделанные мной записи. Вот так и бывает: пишешь, а затем, вдруг, понимаешь — чего твоим сочинениям раньше не хватало. «Рыбки» — название опубликованной ниже подборки заметок. Что может быть проще и понятнее!

Ну, а теперь — лови моих «Рыбок», читатель!

Известно, что Антон Павлович Чехов был чрезвычайно строг и придирчив по отношению к самому себе и собственным сочинениям. Так, например, в ответ на присвоение ему в 1888 году Академией наук премии имени А. С. Пушкина Чехов пожаловался-таки на собственную леность: «Это, должно быть, за то, что я раков ловил». Будь это какая-нибудь другая премия, я, быть может, и согласился с Чеховым. А то можно подумать, что тех же самых раков Пушкин не ловил.

Без конца манипулируя одними и теми же фразами или словосочетаниями, Генрих Сапгир, похоже, хочет сказать следующее: «Нет, как ни крути, а все равно ничего хорошего у меня не получается».

25 сентября 1994 г. Воскресенье. 15 часов 10 минут.

Только что в новостях по местному радио сообщили об участившихся случаях мелкого воровства — картофеля, моркови, капусты и др. — с огородов и садовых участков отдельных граждан. Диктор предупредил также, что в дальнейшем, в случае поимки расхитителей перечисленной сельскохозяйственной собственности, ее владельцы грозилась обрывать виновникам — в виде возмездия за содеянное — руки и ноги.

28 сентября 1994 г. Среда. 23 часа 30 минут.

Смотрел в кинотеатре «Лолу» Фассбиндера. Самые большие впечатления получил от того, что в титрах к фильму осталось не до конца затертым слово «блюдун» и пять раз слово «жопа».

По несколько раз и не без удовольствия перечитываю у Лоренса Даррелла (в его «Жюстин») имена персонажей, названия улиц, кафе, садов и даже трамвайных остановок. Ну какой настоящий роман о любви может обойтись без действующих лиц с именами: Мелисса, Бальтазар, Нессима, Помбаль, Хамид, Каподистрия, Деметриус; без улиц и кафе со столь медоточивыми названиями: улица Фауда Первого, улица Сестер, Неби Даниэль, Аль Актар, Эль Баб. Имена остановок застревают в памяти, будто с детства заученные стихотворные строчки: Четби, Лагерь Цезаря, Лоранс,

Мазарита, Глименопулос, Сиди Бишр. Определенно, в этих буквально в такт дышащих словах нет ничего, только любвеобилие. Впрочем, есть еще и своеобразный эпицентр всего этого ономастико-топонимического рассадника чувств — название города, в котором происходит действие — Александрия.

«Любишь одного из живущих в нем», — написал Лоренс Даррелл в своей «Жюстин». Роман Даррелла тоже может стать миром — уже в одних его названиях и именах я готов «по-настоящему влюбиться».

И рядом не лежала

Буквально на днях я прочитал стихотворение одной молодой поэтессы, но почему-то все никак не мог его нужным образом охарактеризовать. Выручил И. Бродский. Есть у него такие строки:

Бессоница. Часть женщины. Стекло
полно рептилий, рвущихся наружу, —

и дальше:

Часть женщины в помаде
вслух запускает длинные слова...

Так вот, упомянутое мной ранее стихотворение было написано именно той, лежащей на простыне — разумеется, рядом с И. Бродским — «частью женщины». Увы, не со мной.

Визитная карточка нижегородского фотографа и художника Андрея Осиповича Карелина (1837 — 1906), из альбома его фотографий, написана «по всем правилам литературы». Заданная, в духе традиционного русского романа, «иерархия ценностей» — само за себя говорящее «свободный художник» благородно опережает, при определении статуса того же А. О. Карелина, «фотографа Императорской Академии Художеств». По-футуристски разношрифтовая печать — для всех, без исключения, строк на визитной карточке. И последнее: незаконченный роман английского писателя Л. Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» обрывается приблизительно на 100-й странице словами: «Так что, когда я протянул руку, я схватил fill de chambre за—». «Незаконченный роман» А. О. Карелина обрывается намного раньше: «Н.-Новгород, угол Варварки и Малой Печерни...»

Объявление

(По мотивам произведений Игоря Померанцева)

Меняю: английское детство (графские развалины, школьная команда по регби, лондонский Музей Детства, стрижка под Элвиса) на детство, проведенное в России (велосипед «Орленок», школа с продленкой, содовая розочка пирожного в Чите, в 1951 г.).

Звонить: 973-06-40.

«Записные книжки» Вяземского хороши отчасти тем, что совершенно неожиданно дезавуируют привычный, исполненный образцовости и академизма, образ XIX века — его первой половины. Происходит это за счет умиляющей читателя раскрепощенности, умения автора аристократично

мыслить и демократично изъясняться. Ну, например, П. А. Вяземский пишет: «У крыльца сказали мне, что хозяин вышел, то есть, что нет его „at home"». Или вот: «Но такая мысль слишком широка для головы какого-нибудь Нессельроде, она в ней не уместится и разорвет, как ветры разрывали жолу отца его», или еще лучше следующее: «В столовой стол на 90 человек, замечательный тем, что, вероятно, не раз принц-регент лежал под ним».

Новогоднее

Жена рассказывала об одной телевизионной передаче — «Звезды мирового кино в неглиже», с «участием» Кевина Кестнера, Майкла Дугласа, Ричарда Гира, Алека Болдуина и др. Рассказывала долго, с многочисленными подробностями. А потом как оборвала:

— Ну все, не могу больше!

Из прочитанного за последнее время больше всего запомнилась краткая биография французской писательницы Жорж Санд, написанная ее соотечественником Ги Бретоном.

Довольно скоро разочаровавшись в супружеской жизни, молодая француженка начала искать настоящую любовь, что называется, «на стороне». В числе ее любовников в разные периоды были: старый друг детства Стефан Ажассон, молодой писатель Жюль Сандо, актриса парижского театра Мари Дорваль (бывшая, одновременно, любовницей Альфреда де Виньи), Проспер Мериме, Альфред де Мюссе, адвокат из Берри Мишель де Бурж, выдающийся польский пианист Фридерик Шопен. После разрыва с Шопеном Жорж Санд состояла в связи с множеством других, не столь знаменитых любовников и, наконец, с Александром Монсо, прожившим с ней около тринадцати лет. Примечательно, что ровно столько же он терпеливо переносил многочисленные изменения своей неугомонной подруги. Однако самые пикантные подробности из явно состоявшейся интимной жизни Жорж Санд в следующем: одно время фаворитом у неистово-темпераментной француженки был безногий калека, которого в известный момент ей приходилось почти что держать у себя на руках.

«Ниоткуда, с любовью...»

P. S. Ну, и последнее. Ты помнишь — я писал тебе — как один мой друг собирался распорядиться заработанными на «Свободе» деньгами: открыть валютный счет в банке, сделать капитальный ремонт в квартире — разумеется, «на широкую ногу» (только импорт), съездить в отпуск с женой — куда-нибудь на юг, а потом навестить знакомого писателя в Мюнхене (желание посетить именно Германию подогревалось еще и частым упоминанием о шикарнейших проститутках-немках).

На днях упомянутый друг поделился со мной своими летними впечатлениями — восторг да и только: круг старых знакомых в Перми, вино, разговоры, даже порнографические фильмы.

На этом прощаюсь.

25. 06. 94 г.

В. К.

Ханс Боланд

К А. Л.

I

В круглые окна падает свет
фонаря — на красное кресло в белой ночи.
Ты мне скажи, что это — бред,
что тени — ничьи.

II

Внемирный друг меня оставил,
остался в мире я один,
хоть скажут, что меня восславил —
и в смерти будем мы един.

III

Ко мне пришли поэты в гости.
Но ты-то, мальчик молодой,
без посоха, а я без трости;
я — бестелесный, ты — благой.

IV

Мне предстоит беречь тебя
от силы тьмы, от власти зла,
чтобы душа во мне жила, —
и поле перейти, любя.

V

«Убей — убью, уйди!» — О Боже!
В твоих глазах смотрел на ад,
тяжелый лед пополз по коже,
и ты ушел в чуму и глад.
Но как настало воскресенье,
ты вновь предстал в моих дверях —
зачем такое умиление
мне Бог послал в твоих очах?

VI

Перед окном стоим мы вновь,
обнявшись. Пота легкий запах
пьянит. Ах, как блестит любовь
в хрустальных предвечерних лапах!

VII

Помнишь, как в Кривушке* белым утром
солнечным пастельный блеск домов
отражался, будто речка нутром
отрицала темный ужас слов?

VIII

Словом «почему» ты мучишь
душу утомленную.
Для того ль ты слухом учишь
славить смерть законную?..

С.-Петербург — Лейден, 1995

* Старое название Екатерининского канала (*Примеч. автора*).

ЛЮБИМЦЫ ГОСПОДИНА ФАБРА

Радиокомпозиция

Предуведомление

В основе радиокомпозиции — тексты Ж. Фабра, М. Пруста и собственно авторская речь. Ж. Фабр (1823 — 1915) — французский энтомолог, автор десятитомных «Энтомологических воспоминаний». Он не принадлежал к числу профессиональных ученых. Работал провинциальным учителем в Провансе, в свободное время исследовал насекомых. Его речь не подсушена профессиональным жаргоном, его интонации эмоциональны, живы. Ж. Фабр — классический тип ученого-чудака, дилетанта с проблесками гениальности. Актер, играющий Фабра, вправе вставлять в текст междометия, смех, вводные слова и даже менять порядок слов под «свой голос». Он также может подсвистывать птицам, подмурлыкивать жукам, пчелам, комарам, короче, разговаривать. Автор слышит радиокомпозицию не как лекцию или монолог, а как разговор интересных друг для друга собеседников. Перед режиссером радиокомпозиции открывается возможность создать свою фонодраматургию из щебетов, трелей, жужжания, стрекота. У этой звуковой драмы может быть свое развитие и к концу она могла бы вылиться в симфонию скрежетов, шумов, визгов.

ШУМ САДА: ЦИКАДЫ, ЖУКИ, СТРЕКОЗЫ И ПР. НАСЕКОМЫЕ, ЖАВОРОНКИ, МАЛИНОВКИ, ДРОЗДЫ, СОЛОВЬИ, СЛАВКИ.

ФАБР (на фоне шумов сада, медленно):

Июнь — бочонок с динамитом.

Июнь — по липнякам «ау»

В хитросплетенье к пауку,

Чья сеть ночной росой умыта...

(ПАУЗА, КРЯХТЕНЬЕ).

Доброе, доброе утро, господин священный навозник! Что это вы выкатили, что это вы катите мимо цветущего боярышника? Неужто свой навозный шар, тот самый, что древние египтяне считали образом мира? Моя черная спинушка, неужто ты завидуешь своим собратьям из Верхнего Египта, их вправду можно спутать с ярко-зелеными изумрудами, рассыпанными в верблюжьем навозе... или сенегальским красным копрам из красной меди? Ни и что с того, что в навозе нашей страны нет таких драгоценностей? А нравы наших навозников — разве не чудо?

КРЯХТЕНЬЕ, ПТИЧЬЯ ТРЕЛЬ.

А кто бежит рысдой к навозной куче? Что, боишься опоздать? Рыжие усики веером, ножки вразброс... может у тебя в брюшке пружинка? Садись к столу, шлепай голеньями, жуй, лепи... Ну вот, только что было крошечное ядро, а теперь уже шарик с орех, так и до яблока раздует! Но вот что любопытно: шар, который катали целые часы, и шар, только что сделанный, не отличимы по форме. Извлекает ли жук

какую-нибудь выгоду из шаровидной формы? Грубо говоря, питательность шара зависит от навоза. Овечий определенно малопитателен. Желудок овцы имеет четыре отделения, так что они извлекают почти все способные к усвоению вещества. Кто же после этого упрекает навозника в обжорстве? Скажем, испанский копр запасаает под землей пирожок величиной с кулак. И это на один обед! Геотруп же укладывает колбасу из навоза в четверть аршина длиной и толщиной с бутылочное горлышко. Эти едоки роют свои ходы и столовые прямо под кучей навоза. Так что в их мирных жилищах, никому не видимых, заготавливается скандальное, я бы сказал, количество пищи!

ПАУЗА: СТРЕКОТ, ЖУЖЖАНИЕ.

Не упустив случая, господин священный навозник. Что нельзя нести, тащи. Что не тащится, кати. Сначала слепи катыш. Он чудесно катится, не нуждаясь в оси, прилаживается к неровностям почвы. Но шарообразная форма не есть следствие катанья, она предшествует ему. Более того, вылеплена именно в виду будущего катанья... Фу, припекает... Что топаешь ножками? Пьянеешь от зноя? А вот копры, геотрупы, онтофаги солнышка не жалуют, предпочитают умирающий свет сумерек. И, кстати, лично я никогда не замечал между копрами и между геотрупами ссор во время сбора навоза. А почему нету ссор? Богатая добыча не вызывает зависти так как во мраке не будет замечена. Вот-вот. Есть ли у подобного предположения основание? Грабеж, это отвратительное право сильного, не есть исключительно удел человека, и ты, господин священный навозник, даже злоупотребляешь им... При свете солнца возникает взаимная зависть из-за шариков и, к несчастью, развязка не всегда благоприятна для законного обладателя... Причем, грабеж нельзя объяснить голодом. Нельзя и точка! В моем садке... вон там... за боярышником... провизии сколько угодно... не только овечьего навоза... и нет сомнений, что на свободе мои пленники никогда не знали такой роскоши, однако и здесь нередко сражаются. Нет, причина не в нужде, иначе вор не покидал бы добычи, покатав ее некоторое время. Нет, грабят из любви. Из любви к грабежу. Как говорил Лафонтен, здесь можно извлечь двойную выгоду: принести пользу себе и причинить зло другому...

ЩЕЛКАНЬЕ, ФАБР ВТОРИТ.

Ну, а вызывает ли к помощи ограбленный? Я проявлял терпенье, которое рекомендует уважаемый коллега Бланшар, изобретал всякие способы, чтобы, насколько возможно лучше, видеть обычаи и нравы священного навозника, но никогда не видел и не слышал ничего вроде: «Помогите, друзья, на помощь!». Грабителей, ограбленных — этих видел, но больше ничего! А потому мое скромное мнение таково: несколько жуков, собравшихся вокруг одного шара с целью грабежа, дали повод для рассказов о призванных на помощь товарищах. Увы, господин Бланшар... Да как можно было допустить, что жуку придет в голову искать себе помощь в беде! И он полетит, осматривая местность, искать своих собратьев по навозной куче... И найдя их, посредством каких-то знаков, какого-то особенного движения усиков, станет беседовать с ними... И товарищи поймут его?

И что не менее удивительно, покинут свою работу, свои дорогие шары неоконченными, подвергая их риску быть украденными, и все это, чтобы оказать помощь просящему? Такое самоотвержение возбуждает во мне полное недоверие. Мне ли объяснять вам, господин Бланшар, что кроме материнских забот, в которых насекомое всегда достойно удивления, оно, если не живет коммунально, как пчелы или муравьи, всегда абсолютно эгоистично.

ФАБР ВСТАЕТ СО СКАМЬИ, КРЯХТИТ, ДЕЛАЕТ НЕСКОЛЬКО ШАГОВ, НЮХАЕТ ЦВЕТЫ, ПОКРЯКИВАЯ ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ («О, лепестки... божественно... вдыхать, нет, есть их носом...»), ВОЗВРАЩАЕТСЯ, УСАЖИВАЕТСЯ.

А вы, оказывается, плут, господин священный навозник! Я ваши уловки понимаю: что, хотите сделать вид, что шар сам скатился со склона, а вы, мол, стараетесь удержать его и вкатить на горку. Но я-то — беспристрастный свидетель, и я утверждаю, что шар лежал абсолютно спокойно у входа в норку и не скатывался сам... да здесь и место ровное. Да, утверждаю, что видел, как вы двинули его и удалились с недвусмысленными намерениями. Вот так, попытка грабежа. Ну что, вижу, вы духом не падаете, не такой уж это удар судьбы, ага, потереть щеки, распустить усики, набрать воздуха и — снова за работу. Удивляюсь, точнее завидую такой силе вашего характера.

СВИСТ СЛАВКИ. ФАБР ПОДСВИСТЫВАЕТ.

Да, наука собирает свое добро всюду, даже в нечистотах. Истина парит на такой высоте, где ничто не загрязнит ее. И, быть может, отвратительная мастерская обработывателя навоза приводит нас к мыслям более высокого порядка, чем, скажем, лаборатория, приготавливающая жасминные духи и пачули.

СВИСТ СЛАВКИ. ФАБР ВСТАЕТ. ШУРШИТ КУСТАМИ. РАССТЕГИВАЕТ РЕМЕНЬ. САДИТСЯ НА КОРТОЧКИ. ТУЖИТСЯ.

(сгавленным голосом) Эксперимент ради науки... Немного человеческого навоза для господина священного навозника.

СОПИТ. ТУЖИТСЯ.

Лист, как он груб, матерчат.

ШУРШАНИЕ. ВСТАЕТ В ПОЛНЫЙ РОСТ. ЗАСТЕГИВАЕТ РЕМЕНЬ.

Да, погодите же, дайте платью оправить! Сколько вас уже: три, семь, дюжина! Сразу почуяли свежую добычу, тут как тут. Дремали, дремали, но счастливого события не проворонили. Все-таки это зрелище: голова вниз, задние ножки вверх. Наверное, при виде такого зрелища наивный феллах спрашивал себя: что это за шарик и какой интерес для скарабея катать этот шарик с такой страстной настойчивостью. Подумать только, во времена Рамзеса Тутмосиса в катящемся шарике видели образ мира с его суточным вращением, жука окружали божескими почестями, и посему мы, новейшие натуралисты, почитаем его как священного навозника, в память прежней славы. Вы меня слышите, Ваше Святейшество? Уже шесть или семь тысяч лет, как вы заставляете говорить о себе. Ну и что же, хорошо ли известны в подробностях ваши нравы? Известно ли предназначение шара? Знают ли, как вы воспитываете свою семью?... Совершенно не знают.

КОРОТКАЯ ПЕСНЯ МАЛИНОВКИ.

Я сотнями вскрывал шарики, которые катил навозник. Вскрывал и другие, вынутые из норок, и никогда, решительно никогда я не находил в них ни срединной ячейки, ни яичка. Это всегда были простые, грубо скатанные комки навоза, без внутренней отделки, так, запас пищи. На этот счет никаких сомнений: шарики никогда не содержат яичек... Когда я только начинал, у моего хозяина бала конюшня и лошадь. Я завоевал доверие слуги, который сначала только смеялся над моими планами, а после уступил под влиянием маленькой белой монетки. Каждый завтрак моих насекомых обходился мне в двадцать пять сантимов. Я еще и теперь как будто вижу перед собой Жозефа. Вот он вычистил лошадь, высунул чуюк голову над стеной, разделяющей два сада, кричит мне «гей», «гей», рука в виде трубки у рта. Я бегу к нему и получаю полный горшок навоза... Однажды хозяин застучал нас в момент передачи. Вообразил, что весь его навоз перейдет через стену ко мне и я обращаю

его на пользу своих вербен и нарциссов за счет его капусты. (СМЕХ). Я попытался объяснить, но мои доводы казались ему шутками. Жозефу он проломал голову цапкой... Бедолага Жозеф, наука его не забудет... Ну, а я с тех пор ходил на большую дорогу и постыдно, тайком собирал в бумажный мешок ежедневный корм для моих воспитанников... Да, я признаюсь в этом и не краснею. Иногда судьба благоприятствовала мне: какой-нибудь осел, vezуший провизию на городской рынок, оставлял мне дар, проходя мимо моих ворот. Хватало на несколько дней. Короче, мне удавалось прокормить моих пленников при помощи хитрости, подстерегания и беготни за навозом. И что же? Кучка пищи, приобретенная с таким трудом в темноте ночи, с риском для репутации, растрачивалась с безнадежной быстротой. Если успех связан с теми предприятиями, которые ведутся со страстью и с любовью, которых ничто не в состоянии утратить, то мое предприятие должно было быть успешным. Но... оно не было таковым. Не было. Мои жуки, изнуренные тоской по воле, заключенные в тесном пространстве, умирали жалкой смертью, но поведав мне тайны... Я привлек к поискам помощников в лице школьников из ближайшей деревни и обещал денежное вознаграждение за каждый шар, заключающий в себе личинку или яйцо. Но все было напрасно: искомое не было найдено. Где ты, моя молодость?.. Так и осталась лежать на ночной дороге в окрестностях Авиньона...

СВИСТ, ЩЕЛКАНЬЕ ПТИЦ, ТРЕСК ЦИКАД,
МУЗЫКА.

ФАБР *(на фоне музыки)*:

Июль — середка лета, страдник,

Летит пчела, жужжит пчела,

В брюшке зажженная свеча,
Натруженные лапки сладки...

ПАУЗА.

О, пустырь в окрестностях Авиньона, Эдем чертополоха и будяка! Сфекс тащит за усики эфиппигеру, стидз складывает в погреб консервы из цикаделлид, дорожные осы рыщут по всем закоулкам в поисках паука, помпил подстерегает тарантула, в теплое послеобедие вылезают из своих дортуаров муравьи-амазонки и целыми отрядами отправляются в даль на охоту за рабами, древесные лягушки предаются грациозным ныряниям... Самые смелые завладели и домом. У порога, в земле, покрытый гипсовым мусором, гнездится оса... Да, обыкновенная оса и полист — мои товарищи за столом, они приходят на стол осведомиться, достаточно ли зрел поданный виноград... Кто еще открыл на пустыре лабораторию живой энтомологии? Когда же наконец появятся энтомологические станции с лабораторией, в которой изучалось бы не мертвое насекомое, вымоченное в спирту или высушенное на булавке, а живое; лаборатория, изучающая нравы в том маленьком мире, с которым сельское хозяйство и философия имеют серьезные счеты? Вы, Бланшар и Дюваль, вы наблюдатели жизни перепончатокрылых, Фризе и Фергифа, вы для изучения убиваете животное, а я изучаю его живым; вы делаете из него предмет ужаса и жалости, а я заставляю любить его; вы работаете в мастерской смерти и мучений, а я наблюдаю под голубым небом при пении цикад (ЗВУЧАТ ЦИКАДЫ, СЛОВНО УСЛЫХАВШИЕ СВОЕ ИМЯ); вы подвергаете реактивам клеточку и протоплазму, я изучаю инстинкт в самых возвышенных его проявлениях; вы изучаете смерть, я изучаю жизнь!..

ШУМЫ САДА.

Ну что, господин священный навозник? Не сердитесь, я ваш, с потрохами... Я помню вас еще личинкой, вы проклюнулись дней через пять-шесть после откладки яичка... жара стояла, как сейчас... уф... а не

было б жары, пришлось бы ждать в два раза более. Освободившись из скорлупы, вы принялись грызть стену своей колыбельки, но не как попало, а с безукоризненной осторожностью. Знаете, в таком деле нельзя быть почти умеющим, от этого «почти» зависит судьба расы. Знаете, в борьбе каликурга с тарантулом нет места ученику: если охотник не будет мастером, то не видать его потомству пищи, да и сам он превратится в жертву... Но вернемся на эту землю... Как объяснить, почему личинка начинает именно с этой точки скорлупы? Чувствует ли она близость наружного воздуха сквозь тонкую стенку благодаря нежной коже? Если да, то откуда такая чувствительность? И что знает она, личинка, только что родившаяся, об опасностях которые ждут ее вне гнезда? Я теряюсь в догадках... А первые глотки, самые опасные, ввиду слабости личинки и тонкости стенок! Верно, повелительный голос инстинкта говорит: «Ты откусишь там, и ни в коем случае не в другом месте». Представляю, как она превращает нечистый материал яичка в свое дородное тело, сверкающее здоровьем и белизной слоновой кости, с отливом аспидного цвета... Да, где же гусиное перо, я его припас под скамейкой... ага, вот... им я и протыкаю яичко, а вас пощечочу, господин хороший! Помните, чем вы затыкали отверстие в яичке, проделанное вот этим пером? Я ведь тогда, простофиля, ошибался: думал, вы его затыкаете настенной слизью. А вот и нет! Вы просто испражнялись в отверстие. Экономней! Надежней! Это цемент отменного качества, быстро твердеет и всегда, так сказать, под рукой, если только желудок достаточно любезен...

ПЕРЕЛИВЫ СОЛОВЬЯ.

Мюльзан, кстати, в своей «Естественной истории жуков Франции» описывает личинку священного жука. Огромный горб и лопаточка — вот в двух словах описание животного. Но Мюльзан ни слова не говорит о странной форме последнего сустава ее тела. Для меня несомненно, что он ошибся. Под его пером личинка просто неузнаваема... Да-да, господин священный навозник, не читайте Мюльзана. Нет у него и о том, как ваша личинка превращается в куколку. Полупрозрачную медово-желтого цвета, ее можно спутать с точеным янтарем или топазовою драгоценностью. Но для меня, естествоиспытателя, важна вот какая особенность: есть ли у нее на передних ножках лапки, то есть тарсы, или нет? На передних ножках жуки беспалые, калек. И отсутствие передних пальцев не есть результат случая. Передо мной неопровержимое доказательство: ножки куколки. Утверждаю: калечество жука прирожденное. Модная наука мне ответит: жук искалечен от рождения, но его отдаленные предки не были таковыми. О, наивная теория, такая победоносная в книгах, и такая бесплодная перед лицом действительности! Послушай меня. Навозному жуку очень выгодно отделаться от остающихся четырех лапок: они не помогают при ходьбе, ими не катят шар. В октябре, когда насекомое изнурено рытьем нор и перекачиванием шаров, инвалиды, искалеченные на работе, составляют большинство. В моих садках по осени я вижу таких калек на всех степенях калечества. Одни на четырех задних ножках потеряли пальцы полностью, у других остался обломок пальца из одного-двух члеников. Каждый год перед переселением на зимние квартиры большинство искалечено. Но я не вижу, чтобы они в своих работах более затруднялись, чем те, которых пощадило несчастье. У тех и других одинаковая быстрота движений и одинаковая ловкость при вымешивании хлеба, который позволит им философски переносить под землей первые зимние стужи.

КРЯХТЕНЬЕ. ПОТИРАЕТ РУКИ. ВЗДЫХАЕТ, КАК ЧЕЛОВЕК, РАЗМОРЕННЫЙ ЖАРОЙ.

Ладно, сдвинусь поближе к боярышнику... парит. О чем это я? Ах да, о калекках! Они, калекки, еще и потомство производят. Весной просыпаются, вылезают на поверхность и во второй, иногда даже в третий раз присутствуют на великом празднике жизни! Ну, теория, что ты думаешь об этом? Ты даешь нечто, имеющее вид объяснения, относительно двух передних ножек, а четыре остальные ножки формально опровергают тебя. Не принимаешь ли ты свои фантазии за истину?

ТРЕЛИ, ПЕРЕЛИВЫ, СТРЕКОТ.

Нет, подземные египетские храмы, благоговейно хранящие кошку, ибиса и крокодила, должны заключать в себе и священного жука. Я располагаю несколькими рисунками, где жук такой же, каким находят его вырезанным на памятниках или вылепленным в виде амулета при мумиях. Древний артист замечательно верно передает на них общее, но его резец не занимался такими ничтожными подробностями, как эти две лапки, то есть тарсы. Хотя я сильно сомневаюсь, чтобы скульптура и живопись могли решить этот вопрос. Если бы где-нибудь удалось найти древнее изображение с передними лапками, то это не подвинуло бы вопроса. Это ведь можно сделать по рассеянности, по ошибке, по склонности к симметрии. Сомнение, если оно еще у кого есть, может быть уничтожено только при помощи древнего насекомого в натуре. Я жду его, заранее убежденный в том, что жук времен фараонов ничем не отличался от современного. Не так ли, господин священный навозник. Что молчите?

ЖУЖЖАНИЕ.

Ах, не молчите? Подтверждаете? Но вы думаете — эти шарлатаны прислушаются к вашему мнению?

ЖУЖЖАНИЕ.

Ладно, оставим в стороне луну, сочетание ее с солнцем, рождение мира и всю эту астрологическую чепуху. Запомним следующее: двадцать восемь дней должен пролежать под землей шарик для того, чтобы в нем совершилось полное развитие жука. Запомним также, что без вмешательства воды жук не сможет разломать кокона... Древность не знала чудес превращения насекомых... Да, четыре недели, и только тогда жук приобретает окончательную форму, но только форму, а не окраску. Брюшко матово-белое, надкрылья прозрачно-белые, слегка желтоватые. Но это окраска временная, она уступает место черному, как эбен, цвету. А еще месяц спустя роговые доспехи жука приобретают твердость и окончательную окраску. Само собой я не преминул делать опыты над насекомыми в этих деликатных обстоятельствах. Собраны грушевидные коконы, содержащие взрослых жуков, готовых к выходу. Эти коконы, обожженные на очаге летнего солнца, очень сухи и тверды. Они у меня в коробке, чтоб сохранили сухость. Я прижимаю кокон к уху и слышу резкий звук терпуга, что-то вроде (ЦОКАЕТ ЯЗЫКОМ)... Это заключенный старается найти выход, царапает стенку зубцами головы и передних ножек. Я помог некоторым из них, концом ножа проделал слуховое окошко в коконе. Казалось, это начинание могло бы быть замеченным: стоило заключенным увеличить пролом и — свобода!.. Но... увьи!.. недели через две в коконах воцарилась гробовая тишина. Измученные напрасными попытками, заключенные умерли. Я самолично взломал коконы, но нашел там уже покойников. Щепотка пыли величиной со среднюю горошину — вот все, что удалось соскрести жуку со стенки... Но вот другие коконы я обернул в мокрое махровое полотенце и запел в стеклянный сосуд. Когда они пропитались влагой, я развернул полотенце. На этот раз, размягченные влажной тканью, они вскрываются от

толчка заключенного, который, изогнувшись ножками, взламывает спиной, как рычагом, кокон.

Успех! Триумф!.. Вы спросите, что происходит в тупом мозгу навозника во время первой солнечной ванны? Вероятно, ничего... Все к лучшему в этом лучшем из миров!

СВИСТ, ЧИРИКАНЬЕ, ЖУЖЖАНИЕ, ПОТРЕСКИВАНИЕ.

МУЗЫКА (на фоне):

Ах, август, пригоршня рябины.

Невидимый уж подан знак,

Что каждый жук и фрукт, и злак

Приглашены на осенины...

МУЗЫКА.

ФАБР: О, госпожа священная навозница! Отвечайте мне жестами, я пойму вас. Значит, я действительно не причиняю вам беспокойства? Смотрите... вот тут немножко... мне кажется, я слегка запачкал вас цветочной пылью, вы позволите вытереть ее пальцем, указательным... нет, он слишком груб... безымянным? Я нажимаю не слишком сильно, я не чересчур настойчив? Может быть, я немножечко шекочу вас? (ПРЕРЫВИСТЫЙ СТРЕКОТ, ЖУЖЖАНИЕ). Это оттого, что я не хочу прикасаться к бархатистой лапке, чтоб не измять ее. Вот видите, мне непременно нужно было подравнять пыльцу, иначе вы бы начали задыхаться... а вот так, чуть глубже? Серьезно, я не неприятен вам? Вам не будет неприятно, если я понюхаю ее, чтобы убедиться, что она не потеряла запаха? Вы знаете, я никогда прежде этого не делал... качните усиком в знак согласия... Ну, о госпожа моя... Умоляю!.. Качнули?.. Я бы верил вам, если бы не знал... Чего не знал? Да я на зубок знаю любовный календарь вашей жизни. Я следил, если угодно, выслеживал, подглядывал вас во все поры года... Вы-то помните, как вы трещали в лапках полуриябого скарабея? (ЖУЖЖАНИЕ)? Я не знал, кому из вас завидовать... Но... минуточку спустя эта сводня, божья коровка... давалка, скажу вам, каких в природе нет... представила вам испанского копра... красавца с большим рогом на голове, крутой переднеспинкой... Эта переднеспинка, между прочим, вам и помешала взгромоздиться (САРКАСТИЧЕСКИЙ СМЕХ), но сам факт, что вы согласились в разгар любви с полуриябым, на всякий случай познакомиться с копром... терзает меня и поныне... значит, со мной вы поступите также... мне что, не спать?.. или прятать вас на ночь в наперсток... а если вы сдохнете?.. Нет, как вспомню этого испанца (РАЗГНЕВАННО)!.. Плевать, плевать я на вас хотел... Вот вам! (ПЛЮЕТ). Вот! Утрись! Да нечем... Ну ладно, не дам тебе утонуть... ползи, ближе, вот так, на мизинчик... Дай-ка, слижу... не бойся, язык мягкий, не поцарапает... ну... видишь... усики... нравится?.. это запах жареных семян подсолнуха... еще подышать на тебя?.. я знаю, ты подсолнух любишь. Ведь так? Ну, качните усиком в знак согласия... (ЖУЖЖАНИЕ). Ах, мы больше не одни (СТРЕКОТ)! К нам пожаловал, как говаривали греки, жрец, а по-нашему богомол. Талия тонкая, длинные газовые крылья, в зеленоватом флере... Какое, однако, ханжество! И во внешности и в имени! В августе здесь хоть пруд пруди брюхатыми самками... а вот их хилых супругов почти нет. Деревенские мальчишки за лакомства ловят насекомых для корма моим богомолам. Предпочитают богомолы большую египетскую кобылку бледнолобого кузнечика с головным убором вроде пирамидальной митры, эфиппигера виноградников с саблей на конце брюшка. Добавьте к этому пару ужасов: пауков, эпейру шелковистую, величиной с двутривенный, и эпейру корончатую, лохматую и пузатую. Жрут эту дичь богомолы с затылка, да, только с затылка. Почему? Позволю себе короткое отступление (ТЯЖЕЛО ДЫШИТ).

В июне мне часто попадались на лаванде в огороде, вон там, за боярышником, два маленьких паука, похожих на крабов. Один атласисто-белый, с кольчатыми лапками из зеленых и розовых колец; другой черный, с брюшком, окаймленным красным, и с листовидным пятном. Ходят они боком, точь-в-точь крабы. Засады устраивают на цветах. Кто придет сосать цветочный сок — тот и будет жертвой. А кто чаще всех приходит? Домашняя пчела. Во всех случаях пчела оказывается мертва. Ядовитые крючки паучков заставляют меня задуматься. Точно так же богомол хватается саранчу. Но как слабый паучок может овладеть пчелой, более сильной, более проворной и вооруженной смертельным жалом? Чтобы выяснить это, я поместил в садок томиза, пучок лаванды с несколькими каплями меда и трех-четырёх живых пчел. Они беззаботно летают под колпаком, на паука плюют, садятся в полусантиметре от него. А он сидит себе, только ножки вытянуты и слегка приподняты. Пора! Паук своими крючками хватается пчелу за кончики крыльев, неловко обхватывает ее лапами. Пчела бьется, но ее жало до спины не дотягивается. Паук выпускает крыло, но тотчас хватается пчелу крючками за затылок. Смерть наступает мгновенно, нервный центр отравлен уколом ядовитых крючков. Не выпуская затылка, томиз начинает сосать кровь. Когда шея высосана, принимается за брюшко, за грудь, где попало. Пир длится семь часов кряду, причем паук только сосет, но мяса пчелы не ест. (ШУМЫ САДА). Ах, это ты, богомол! Кому-кому, а тебе известна анатомическая тайна раны в затылок. Ты всегда норовишь ранить жертву в заднюю часть шеи, а после перегрызть мозговые узлы... чтоб подавить мускульную силу в источнике. А там — жри себе за обе щеки. Ну что, скажите, общего между вашим именем и вашими нервами? Слышишь «богомол» и представляешь что-то мирное, кроткое, а имеешь жестокого хищника, лопающего мозг жертвы, оцепеневшей от ужаса. Но это еще не все. Видел бы кто-нибудь, как ведут себя богомолы в брачное время! Я держал их в это самое время под колпаком, причем ни кобылок, ни бледнолобых кузнечиков не жалел. Жалкий, щедущий самец ждет своего мгновенья, кидает взгляды на могучую подругу, вертит шейей, выпячивает грудь, его маленькая остренькая мордочка дрожит от страсти. (СМЕХ). Она же, нареченная, как бы равнодушна. Влюбленный улавливает знак согласия, мне не доступный. Приближается, крылья конвульсивно вздрагивают. Это его язык любви. Наконец, его объятия приняты. (ЖУЖЖАНИЕ, ЗУД). Но бедолага любим красавицей не только как супруг, но и как вкусная дичь. (СМЕХ). Самое позднее на другой день, он схвачен подругой, парализован в затылок и постепенно, маленькими кусочками, съеден. Остаются от него только крылышки. Подбрасываю другого самца. После еще одного. В течение двух недель молодая истребляет семерых самцов. За брак они платят жизнью. Особый аппетит разыгрывается в знойную погоду. Никогда не забуду: самец обнимает самку со спины, крепко держит ее, но головы у него уже нет, и шеи, и передней части туловища. Самка же, повернув голову через плечо, спокойно пожирает супруга в то время, как огрызок его теле продолжает исполнять свое супружеское назначение. (СТРЕКОТ, МУЗЫКА). Говорят: любовь сильнее смерти. Да, так буквально и получается. И все же — съесть возлюбленного после свадьбы, когда он свое дело сделал, это еще можно понять, в конце концов, от богомола тонкости чувств не ждешь, но пожирать супруга в момент брачных объятий — это вне рамок приличия. Я видел это собственными глазами и до сих пор не могу оправиться от изумления. (МУЗЫКА). Не знаю, может быть, это переживание тех геологических эпох, когда насекомые предавались чудовищным битвам. Прямокрылые, к которым принадле-

жат богомолы, появились на земле первыми. Грубые, с неполным превращением, они бродили среди древовидных папоротников. Тогда еще не было насекомых со сложным превращением: бабочек, жуков, мух, пчел... Да, нравы были грубы, чтобы производить, приходилось уничтожать... Но почему-то самцы всегда меньше самок... У тахита, скажем, убийцы богомола, самец кажется просто карликом по сравнению с самкой. А как ухаживает за великаншей на пороге норки! Ну а как могло быть иначе? Мать, и только мать роет подземные галереи или строит подземные гнезда из цемента, или сверлит канал в дереве и разделяет его перегородками на этажи, или вырезает из листьев кружочки, а из них делает горшочки для меда; она же охотится за дичью, парализует ее и приносит в норку, собирает цветочную пыль, вырабатывает мед и прочее. Этот тяжкий труд требует, очевидно, телесной силы, совершенно бесполезной праздному самцу. (ШУМЫ САДА, МУЗЫКА).

Но что же это вы надумали, госпожа священная навозница, в чьих это вы объятиях? Что это за пигмей? Значит ли это, что вы принадлежите к числу самок, стоящих на самом низком уровне умственного развития, к числу тех презренных созданий, которые не способны отказаться от удовольствия? Но если вы такая, то как возможно любить вас, ведь вы даже тогда не личность, не индивидуальность, пусть даже несовершенная, но способная совершенствоваться? Вы — бесформенная жидкость, текущая в любом направлении, беспамятная и не способная к умозаключениям рыба... Понимаете ли вы, что ваши поступки убивают мою любовь к вам, делают вас менее привлекательной в моих глазах? Как любить того, кто занимает самую низкую ступень на лестнице живых существ и не способен подняться ни на вершок выше? Как вынести этот наклон головы, но в сторону других усиков, все эти знаки нежности, даримые теперь другому? Кажется, нет, наверное, у Лабрюйера сказано: «Чтобы чувствовать себя счастливым, нам довольно быть с теми, кого мы любим: мечтать, беседовать с ними, хранить молчание, думать о них, думать о чем угодно — только бы не разлучаться с ними!»! Подумать только: неужели я попусту растратил лучшие годы моей жизни, желал даже смерти, сходил с ума от любви к жуку, который мне не нравился, который был не в моем вкусе?! (ШУМЫ САДА, МУЗЫКА)... Человек сохраняет всю жизнь воспоминания о тех местах, где он любил... А насекомое, сохраняет ли оно воспоминание о том месте, где любили его? Да, насекомые помнят и узнают материнский дом, место, где провели детство, возвращаются в него, поправляют и снова поселяются, но я о другой любви... О той, на алтарь которой можно положить всего себя, до последней реснички, последнего жгутика... Нет, Саварэн ошибался, утверждая: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты». Нужно иначе: «Скажи мне, кого ты ешь, и я скажу тебе, кого ты любишь»... Капустная бабочка в юности питается листьями крестоцветных растений; шелковичный червь презирает нашу провансальскую зелень, кроме листьев тутового дерева; молочайному бражнику нужен в пище едкий сок молочаев... аммофилы охотятся исключительно за гусеницами ночных бабочек, и этот вкус разделяют с ним эвмены... Хотя я и присутствовал на обеде трех щетинистых аммофил: они с большим аппетитом поедали сверчков, положенных взамен любимых гусениц... Сфексы и тахиты ловят прямокрылых, церцерисы, за редкими исключениями, остаются верными долгоносикам; филанты и паляры ловят только перепончатокрылых; помпилы охочи до пауков; астата наслаждается вонью клопов; бембексы не признают ничего, кроме мух; сколии монополизировали личинок пла-

стинчатоусых жуков; пелопей — молодых эпеир; желтоусый стидз снабжает свой буфет богомолами, всякими богомолами, лишь бы они были молодыми и мягкими... А вот попробуйте предложить тахиту, другому убийце богомола, вместо любимого блюда, кобылку подходящей величины! Да он презрительно отвергнет ее, хотя она ой как вкусна! А предложите молоденькую эмпузу, она сильно отличается от богомола по форме, по цвету, но относится к семейству богомоловых, так вот тахит не колеблясь примет ее и парализует прямо на глазах... Лаланд утверждал, что пауки имеют вкус орехов. Скажите это аммофиле, и она обдаст вас холодом. Или попробуйте убедить ее, что гусеница дневной бабочки так же хороша, как и гусеница ночницы. Вам это не удастся. Каждый принципиально отказывается от дичи, жуждой его любви. Нет, лапчатый тахит, тонкий ценитель нежного мяса, не согласился бы заменить свою кучечку молоденьких кобылок одной большой кобылкой, пищей тахита Панцера, а этот последний, в свою очередь, никогда бы не обменял свою взрослую кобылку на мелюзгу собрата, никогда! Откуда такое непобедимое отвращение к пище, употребление которой не освящено обычаями предков? Может, пауки оказались бы ядовитой или, скажем, нездоровой пищей бембексу, любителю слепней, а сочная личинка аммофилы противна желудку сфекса, питающегося сухими акридами?.. Вот дневник жизни одной из моих личинок бембеса. (ШОРОХ СТРАНИЦ):

«2-го августа. Даю личинке молодую фанероптеру. Ест во весь рот, бросает, совершенно высосав... 3-го августа. Другая фанероптера тоже высосана. Остались сухие, нерасчлененные покровы. Сосала через большое отверстие, прогрызенное в животе... 4-го августа. Подкладываю не парализованную, а убитую дичь с раздавленной головой, и потому скоропортящуюся. Личинка усердно питается». Ну, и так далее. (ЦИКАДЫ, КОМАРЫ, КУКУШКА). А человек? Чего только он не ест, начиная с арктических стран, где он питается кровью тюленя и китовым жиром, до жареного шелковичного червя китайца и сушеной саранчи араба... Я готов... да, готов... Разве вы, обитатели ежевичного куста, куста розового вереска, куста боярышника, не хотите... не все же нам пробовать вас... любовь — это бескорыстие, это самоотдача, ведь так?.. Ну, бембекс, смелее, неужели забыл, как сосал фанероптеру? (ЛЕГКИЙ ШУМ). И ты, аммофила, разве твой Фабр не так же сух, как твои любимые сверчки?.. И вы, отважные богомолы, вы не отступали еще ни перед чем: ни перед египетской кобылкой, ни перед египетской саранчой. (ШУМ НАРАСТАЕТ)... Ко мне, мои любимцы, с терпугами, рашпилями, фрезами! Да... так меня... да!.. Да!..

СКРЕЖЕТ, ШУМЫ САДА, МУЗЫКА.

АВГУСТОВСКАЯ НОЧЬ

Скок на стук. Еще шажок.
Ужас искорки зажег,
По лугам рассыпал сор
Взглядов бесьих и кружится —
В тьме невидимый танцор,
Нажимая половицы.

Коготок скребет, как стилос
По стеклу — в тоске тревожной
Бабочка, что обольстилась
Вечером луной подложной.
За окном теперь — возмездье! —
Настоящие созвездья.

Дивы двор заполонили:
Слизней глядят кошенили,
Тронул серебро светляк
Трав раздувшегося ситца.
Тенью в лунный прósвет ляг,
Чтоб от мглы ночной укрыться,

Чтобы бес тебя не выел,
Как жука, что в тьму вступив,
Вынырнул из синевы и
Треснул, крылья распустив,
Чтоб не воскресила боль
Ночи вечная юдоль.

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ / ЛЮДВИГ

«Из той же матрицы, что и сны»

В последнее время две фигуры тревожат мои сны. Графический стиль карт Таро подарил назойливую изобразительность, скульптурность, даже аллегоричность. Невзрачный господинчик со светлой бородкой указывает перстом на собственные чресла. Второй — вихрастый, худой, со стремительным профилем — смотрит на свою приподнятую руку. Оба персонажа порядком надоели мне, и, чтобы расправиться с ними, я пишу этот текст.

Вдохновенный маг и грязное чудовище — вот ключевые образы, унаследованные нашим веком от предыдущих; Просперо и Калибан. Современники братьев Люмьер и братьев Райт принялись смешивать их, изготавливать мутанта. Роберт Стивенсон в «Докторе Джекиле и мистере Хайде» продемонстрировал возможность совмещения порядка и хаоса в существе заурядном. Доктор Фрейд разъяснил, что все человеческие существа заурядны, т. е. состоят из порядка и хаоса. Профессорский сынок Боренька Бугаев обратился в белоснежного символиста Андрея, а последний — в пьяного идиота, пляшущего фокстрот в берлинском кафе. Тот же Бугаев придумал мутанту гениальное имя — «Аполлон Аблеухов», иными словами — «Аполлон с облыми ушами» (или «Аполлон Блюющий»?). Этакий Просперо, вытирающий зад страницами магических книг. Список мутантов нашего века известен, печален, и, увы, длинен; длинен настолько, что не стоит и начинать, помянем лишь самого колоритного — бритого наголо культуролога Фуко, в черном кожане, верхом на «Харлей-Дэвидсоне».

Зато помянем и исключения, нелепых и трагических одиночек, чей удел: гордость, мужество, честь. Вот Владимир Соловьев в цилиндре сидит у лап египетского Сфинкса. Вот карикатурный империалист Черчилль, выстоявший против люфтваффе, Гитлера и Сталина в сороковом году; презрительный Борхес, поменявший Нобелевскую премию на обед с Пиночетом; толстяк-энтомолог, сочинивший «Пнина»... Все они уникальны, ибо адекватны себе и судьбе, ибо их девиз: «Делай, что должен, и будь, что будет». Персонажи моих снов, кажется их их числа.

Один из бранчливых текстов Андре Бретона содержит следующий пассаж: «Нам нравится митра древних заклинателей, митра чистого белого льна, на передней части которой был помещен золотой клинок, на нее не садилисе мухи: чтобы их отпугнуть, были проделаны омовения». Бретон намекает, что он сам — мистагог сюрреализма в белой митре. Роль Калибана при этом троцкистском Просперо отводится Жоржу Батаю: «Беда Батая в том, что он размышляет; конечно, он размышляет как тот, у кого „на носу муха“, что его сближает больше с мертвецом, чем с живым человеком, но он *размышляет*. Он стремится посредством небольшого механизма, который еще не совсем сломался у него, передать навязчивые идеи: уже из-за этого, чтобы там ни говорил Батай, тщетно его стремление противиться, как зверь, всякой системе».

Сказано здорово, но, как часто бывает, не о том человеке. Батай, этот надувной монстр мелочной лавки сюрреализма, этот порно-гегельянец, здесь ни при чем. А кто при чем?

Когда я думаю о Василии Васильевиче Розанове, то представляю его себе с непременной мухой на носу. Василий Васильевич мечтает. Он не видит мухи. Он смешно подергивает носиком, отчего очки прыгают вверх-вниз. Муха улетает. Василий Васильевич вздыхает и принимается за очередное сочинение по половому вопросу. «Половой вопрос» — навязчивая идея Василия Васильевича. Он пишет о «поле» чудовищные непристойности. Василий Васильевич вообще — «чудовище»^{*}; он «как зверь противиться всякой системе». Он мечтает, он — задумчив: «Иногда чувствую что-то чудовищное в себе. И это чудовищное — моя задумчивость. Тогда в круг ее очерченности ничего не входит.

Я — каменный.

А камень — чудовище.

Ибо нужно любить и пламенеть...

В задумчивости я ничего не мог делать.

И, с другой стороны, все мог делать („грех“).

Потом грустил: но уже было поздно. Она съела меня и все вокруг меня».

Положим, «грехов» особых не было — не считать же оними хрестоматийное «неимение устоявшихся политических мнений»! Человек частный (а, значит, хороший) в задумчивости о политике забывает. Особенно в задумчивости о том, о чем Розанов: «Да сохранится свежей и милой твоя пизда, которую я столько раз мысленно ласкал... А что, хочешь, ровно в 12 ч. ночи на Нов(ый) год я мысленно вспомню ее, черненькую, влажную и душистую. Шлю на память мои волосы»^{**}.

Именно Василий Васильевич — чудовище, зверь бессистемный, одноступенчатый — играет в моей приватной аллегории роль Калибана, алкающего Миранды. А что за Просперо смотрит на свою поднятую руку? Кто в белой митре?

В изданной недавно книге «Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель» есть две фотографии. На соседних стараницах, одна против другой. Слева — вздерошенный, орлиноносый, худой Витгенштейн, застегнутый на все пуговицы своего клетчатого сюртучка. Справа — развалившийся в кресле, грузный, нахмуренный (нахМУРенный) Мур, его объятый жилетом живот раздвинул фалды мятого пиджака. Антураж: неясный кембриджский сад. Подпись: «„Я знаю, что это дерево“: Витгенштейн и Мур в саду размышляют о философии». Такая вот философия, до грюн пункта британского дуба очищенная от бациллоносных монад, абсолютных идей, архетипов. Впрочем, и дерево-то ненастоящее, ведь, как известно, Витгенштейна (с подачи Мура) более всего интересовал такой вопрос: «Откуда я знаю, что это рука?» Тем и начинается его последний трактат: «Коли ты знаешь, что вот это — рука, то это и потянет за собой и все прочее». Эрик Леннрот треугольному лабиринту предпочел лабиринт, «состоящий из одной-единственной прямой линии». Витгенштейн превзошел элеатов и возвел лабиринт, состоящий из одной единственной фразы. Выхода из этого лабиринта

* Разве не «чудовище»: «Всем великим людям я бы откусил голову»?

** Очень важно, что Василий Васильевич «ласкал» предмет восторга только «мысленно». Только! И непременно «в задумчивости».

нет. Точнее — есть, но гипотетический: не выходить из него, т. е. не говорить ничего. («Любое предложение может быть выведено из каких-то других предложений. Но эти последние могут оказаться не более достоверными, чем оно само»), тогда наш лабиринт растет в воздухе. Этот траппистский канон невозможности сказать что-либо Витгенштейн доказывал большую часть жизни (после публикации «Логико-философского трактата»), доказывал яростно, многоречиво, величественно. «Когда он говорил, его лицо было удивительно подвижно, выразительно. Взгляд был пронзителен и часто неистов. Весь его вид был внушительен и даже величествен», — сообщает Норман Малкольм. Перед нами жрец, маг, Просперо, одной фразой расколовший самую натужную философию, самую изысканную словесность, самую выпенючую элоквенцию в ничто. Вдохновенный Людвиг.

Но почему же они сняты вместе, Василий Васильевич и Людвиг, Калибан и Просперо? Почему в моем сне не прыгают, не вертятся, не разговаривают, а застыли, каждый в своем уголке, на одном месте? Думаю, разгадка — в словосочетании «на одном месте». Розанова и Витгенштейна объединяет то, что они — люди, не стремящиеся куда-либо, а стоящие на одном месте, каждый на своем, каждый в своем уголке, если хотите. Проговорился об этом только Витгенштейн: «Я бы мог сказать: если бы того места, куда я стремлюсь, можно было достичь, лишь поднимаясь по некоей лестнице, то я отказался бы туда взбираться. Ведь место, куда мне действительно следует стремиться, должно быть тем местом, которое я уже занимаю... Первое движение созидательно и кладет один камень к другому, второе же всегда хватает за тот же самый». Розанов высказался (по сути — о том же) энергичнее, банальнее и темнее: «И бегут, бегут все... чудовищной толпой. Куда? Зачем?

— Ты спрашиваешь, зачем мировое волю?

— Да тут не волю, а, скорее, ноги скользят, животы трясутся. И никто ни к чему не привязан. Это — скетинг-ринг, а не жизнь».

Пусть будет так. Но не глупость ли, не постмодернистский ли выверт, не маньеристский ли экивок ставить рядом, в одном тексте, Розанова, мечтающего (в разгар столпоутверждающей беседы с Флоренским) о «мамочкиных щах» и Витгенштейна, заявившего: «Мне все равно, что есть, лишь бы одно и то же»? Капустнейшего Василия Васильевича и абстрактнейшего Людвиг? Пожалуй, кулинарное возражение «спариванию» моих персонажей самое сильное. Гастрономический вопрос вообще из наиболее тонких. Что предпочитал Розанов? «Крылышко гуся» глодал «без божества, без вдохновения». Зато — «рыжики, грузди, какие-то вроде яблочков, брусника... и испанские громадные луковицы, и образцы капусты, и нити белых грибов на косяке двери» — «полное православие». «Беломорскую семгу» не жаловал, т. к. ею угощают на либеральных писательских обедах, и вообще порицал писателей за обжорство «на халявку». Так был ли Василий Васильевич гурманом, любил ли вкусно покушать? Покушать любил, но гурманом не был. Обратим внимание на фразу «какие-то вроде яблочков». Знарок бы так не сказал, он бы назвал какие: моченые ли, печеные. Просто Розанову важен был еще один гастрономический компонент «полного православия», вот он и яблочки разложил, какие-то вроде. И ши его ненастоящие, и семга его литературная, гоголевского происхождения. Василию Васильевичу все равно, что есть, лишь бы есть, лишь бы жить. Вот его истинное меню: «2 — 3 горсти муки, 2 — 3 горсти крупы, пять круто испеченных яиц может часто спасти день мой». Такова гастрономическая тайна Розанова. Он ел, чтобы жить, «ибо жизнь моя есть день мой,

и он именно *мой день*, а не Сократа или Спинозы». И разве не таков Витгенштейн? «Все равно, что есть, лишь бы одно и то же», можно продолжить: «ведь, питаясь одним и тем же, я живу». Это библейская, ветхозаветная кулинария; именно в таком контексте можно понять и торжественные слова Давидова псалма: «Ты готовишь хлеб, ибо так устроил ее (землю)», и восторг Витгенштейна по поводу банальнейшего хлеба с сыром: «Было невероятно смешно слышать, как он восклицал „Hot Ziggety“*, когда моя жена ставила перед ним хлеб и сыр». Вот и получается, что гастрономические принципы Василия Васильевича и Людвига были одинаковы: их объединяло мнение, что** «самый факт существования настолько чудесен, что никакие злоключения не могут избавить нас от несколько комической благодарности»; естественно, та же самая благодарность выражалась и по поводу одного из составляющих оного существования — хлеба насущного. Только благодарность Розанова была по-эстетски православно стилизована, а у Витгенштейна по-бойскаутски педалирована. Но 50-летний бойскаут (к «пятидесятилетнему» прибавим — «еврей», «гомосексуалист», «эмигрант из Вены») разве не стилизация?

Теперь о том самом «чудесном факте существования». Люди, исполненные благодарности по поводу данного факта, конечно, мистики. Мистиком был Честертон. Мистиком был Розанов, написавший: «Но, скажем: каково же солнце, которое неизреченным тьмам народа дает хлеб, дает как „по службе“, „по должности“, почти „по пенсии“. Дает и может дать. Дает и, значит, хочет дать? У солнца — воля и... *хотение?*» Пожалуй, солнце, дающее хлеб „по пенсии“, будет сильнее любой сведенборговой баронессы, любого Адама Кадмона, любой мистической розы. Мистицизм, по определению Сартра, — это интуитивное наслаждение трансцендентным. Точнее не скажешь о Розанове, наслаждавшимся рождающим солнцем. У Витгенштейна то же наслаждение, но несколько иным. Параграф 6. 44. «Логико-философского трактата» гласит: «Мистично не то, как есть мир, но то, что он вообще есть». Вряд ли «лунный» Людвиг мог мистически переживать Рождение***, но вот «возможность существования чего-либо» дарила ему такие, например, мгновения: «Я в безопасности, ничего не может причинить мне вред, что бы ни случилось».

Как и других мистиков, моих персонажей мало кто понимал по-настоящему, да они и не стремились к этому. Интуитивно переживая «общее» (трансцендентное), мистик в своих писаниях разорван по краям: выражается весьма по-своему (т. к. «интуитивное», т. е. «свое»), а говорит о вещах, известных каждому («трансцендентных»), но подавляющим большинством не замечаемых, но переживаемых.

Зинаида Гиппиус пишет о Розанове: «И открытость полная — всем, то есть никому». Сам же он вздыхал: «Ах, добрый читатель, я уже давно пишу „без читателя“, — просто потому, что *нравится*». И добавлял: «Пишу для каких-то неведомых друзей» и хоть «ни для кому». Витгенштейн тоже особых иллюзий о своем читателе, вернее, «понимателе» не имел. Он уяснял *сам для себя* некоторые вещи, а что касается Другого,

* Старинное канзасское сленговое выражение, типа «Вкуснятина!»

** По ехидному высказыванию Борхеса о Честерстоне.

*** Норман Малкольм вспоминает: «Он добавил, что не может понять представления о Творце».

то: «Типичный западный ученый... все равно не постигнет духа, в котором я пишу». Вот почему, будучи великолепными собеседниками (каждый в своем роде), Розанов и Витгенштейн оказались никудышными школьными учителями: Василий Васильевич наверняка «отсутствовал» на уроках, пребывая в «задумчивости», а яростный Людвиг попросту терроризировал ничего не понимающих учеников.

«Учительские годы» Розанова известны прежде всего тем, что в это время он жил, платя по странным дostoевским долгам, с Аполлинарией Сусловой и написал своего «Ганса Кюхельгартена» — злополучный трактат «О понимании». В более дотошном европейском мире «школьную эпопею» Витгенштейна все-таки раскопали* и что же? Бесплодные попытки, напрасная ярость, непонимание, полный провал — иной учительской карьеры для нашего философа вообразить невозможно. При этом теоретические проблемы педагогики мои персонажи обсуждали со страстью: Василий Васильевич сочинил целую книгу «Сумерки просвещения», Людвиг был одним из копыеносцев австрийской школьной реформы. Думаю, и тот и другой с отвращением вспоминали роль, которую им довелось играть, одну из самых лживых и циничных ролей — роль школьного учителя.

Написав последнюю фразу, я вдруг вспомнил, что мой скульптурный сон впервые приснился мне в Лондоне, в обшарпанной каморке припанкованного пансиончика «Magee Hotel». Накануне, за рюмкой водки, я спросил Александра Моисеевича Пятигорского, что он думает о Витгенштейне. Пятигорский ответил примерно следующее: Витгенштейн — типичный венец, хитрейший, дела вид, что ничего не читал; человек индивидуальнейшего гомосексуализма; члены блумсберийского кружка** прямо-таки молились на него, но он не принял их типа гомосексуализма... Вот тогда-то я вспомнил Розанова, написавшего, например, такое: «Действительно, я чудовищно ленив читать. Напр. Философова статью о себе (в сборнике) прочел 1-ю страницу...» Или: «Уже в университете дальше начала книг „не ходил“ (Моммзен, Блончли)». И еще: «Из Шопенгауэра (пер. Страхова) я прочел тоже только первую половину первой страницы (заплатив 3 руб.): но на ней-то *первую строкою* и стоит это: „Мир есть мое представление“.

— Вот это хорошо, — подумал я по-обломовски, — „Представим“, что дальше читать очень трудно и вообще для меня, собственно, не нужно».

Именно хитростью, афишированным невежеством впервые совпали мои персонажи. Зачем им было нужно это дуракавальние? Как род защиты от окружающих. И Розанов и Витгенштейн не хотели соучаствовать в «коллективном проекте будущего», кто бы таковой проект ни затевал — кружок Мережковских или блумсберийский кружок. Поэтому, как заметил Пятигорский, сокровенный гомосексуалист Людвиг чурался идеологически фундированной сексуальной свободы блумсберийцев. Так же и Василий Васильевич только посмеивался над революционно-христианским эросом друзей-богоскателей, например, Мережковского: «А с „попадью“ если *также*, то вы вцепитесь ей в косу

* Уильям У. Бартли.

** Любопытно, что наш с Пятигорским разговор происходил в Блумсбери. Однажды я был в гостях у некоего русского поэта, живущего рядом с ивановской башней. Поэт обзывал Вяч. И. Иванова «дутой фигурой» и говорил, что у того нет ни одного «настоящего» стихотворения.

и станете кричать о своих любимых темах, и, прокричав до 4-х утра, все-таки в конце концов совокупитесь с нею в 4 часа, если только можете совокупляться (в чем я сомневаюсь)».

Дело ведь не в «гомо-» или «гетеро-», дело во внутренней сосредоточенности на самом главном, на «своем месте», своей судьбе, сосредоточенности шахматиста Лужина. Лужин машинально делал многие общепринятые вещи, «чтобы не мешали окружающие», но, когда наступление «окружающих» стало опасным, он выпрыгнул из их мира. В окно. Мои персонажи тоже «защищались»: заявляли, что ничего не читали, служили, вели разговоры. Потом тоже прыгнули. «Прыжком» Розанова стал отъезд в Сергиев Посад и «Апокалипсис наших дней». «Прыжком» Витгенштейна — уход из университета. В обоих случаях смерть означала приземление.

Д. К. Хотов как-то припомнил следующий случай. Однажды он спросил своего ученика, читал ли тот Витгенштейна. Ученик переспросил: «Витгенштейна? Который писал афоризмами, как Розанов?» Над этой фразой можно посмеяться («Бетховен похож на Чайковского, т. к. тоже сочинял симфонии». К тому же, строго говоря, Розанов не писал афоризмами). Но можно и не смеяться. Первый взгляд безымянного ученика оказался верным, м. б. потому, что «первый». Мышление и Розанова и Витгенштейна корпускулярно, они мыслят молекулами, пусть разными. Из этих молекул составляет вещество их писаний, хотя, на первый взгляд (на этот раз — неверный), способ их соединения разный. Главное, что получившийся результат и для Розанова и для Витгенштейна единственно возможен. Отстаивание своего «единственно возможного» — такова их судьба. Они чуяли ее и следовали ей. Они знали «свои камни» и хватались только за них. Василий Васильевич и Людвиг не зря скульптурно расположились в моих снах. Ведь их место, куда они действительно стремились, было тем местом, которое они уже занимали. Тоже, своего рода, аллегория свободы.

Итак, музейная комната моего сна закрывается. Повернем выключатель. Прикроем двери. Перечитаем напоследок объяснительную табличку:

«Ведь честные и сильные натуры как раз в это время отворачиваются от сферы искусства и обращаются к иным вещам, ценность же индивидуального как-то находит свое выражение. Правда, не так, как во времена великой культуры. Культура — это как бы грандиозная организация, указывающая каждому, кто к ней принадлежит, его место, где он может работать в духе целого, а его сила может с полным правом измеряться его вкладом в смысл этого целого. Во времена же некультуры силы распыляются и мощь личности тратится на преодоление противоположно действующих сил, сопротивления трения. Она находит свое выражение не в длине пройденного пути, а, может быть, лишь в теплоте, порожденной преодолением сил трения. Но энергия остается энергией, и пусть фантазмагория, открывшаяся взору в наш век, — это отнюдь не становление великого творения культуры, где лучшие совместно работают для достижения единой великой цели, а малоимпозантное зрелище толпы, лучшие представители которой стремятся лишь к достижению своих частных целей — мы все-таки не должны забывать, что дело не в зрелище» (Людвиг Витгенштейн).

Игорь Павлов

* * *

В. Сорокину, беллетристу

Ну куда же он делся, отродье слуги,
что, пожалуй, не мог обслужить двух господ —
с рушником, с полотенцем? Какие враги
отослали его, окунули, — и вот
все теперь самому... Даже ты, не «Иван» —
«Франсуа», бесталанный ночной Калибан,
обманул, что я слышу, читая роман?!

В этом есть что-то рыбье, — салфетку возьму.
Нет, давай разлетимся как лавр, атташе,
лариосик ты мой... Почему? — Потому!
Я сплясал бы тебе антраша, но, моншер...
Но помилуйте, сколько в Венеции роз
и дворцов мавританских, и летней чумы!
Проза просто правее, левее (всерьез?)
непонятной державинской лисьей зимы.

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

(КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ)

В рассказе не происходит ничего, что на реалистический манер напоминало бы читателю события повседневной жизни.

Нет, однако, и ничего такого, что не могло бы (пусть предположительно) случиться со всяким.

Главному герою — человеку неприглядному, ведущему заурядную жизнь городского служащего, — снится кошмар, в котором с головокружительным правдоподобием разворачиваются картины кораблекрушения: гибнет, брошенный штормом на рифы, океанский лайнер с тремя сотнями туристов на борту. Один за другим проносятся эпизоды, исполненные ужаса и своеобразного эротизма.

Опуская череду устрашающих подробностей à la Джозеф Конрад — весь этот хаос звуков, красок и форм, как бы подчиненных неутолимой стремительной логике, — переходим к развязке.

Из всех пассажиров спасаются двое мужчин, занимавших, по законам романтической симметрии, соседние каюты. Одного волны выбрасывают на крохотный скалистый островок. Второй, очнувшись на дне большой спасательной шлюпки, понимает, что остался один посреди океана, без воды, пропитания и весел и что шлюпка дала течь. Через двое суток после катастрофы, в ясный солнечный полдень, влекомая неведомым течением, шлюпка проплывает мимо острова, приютившего первого пассажира. На какое-то мгновение два изможденных человека (один — стоя на берегу;

(THE BRIEF HISTORY OF LITERATURE)

Nothing occurs in the following story that a reader would associate with every day life.

Yet there is nothing here that could not though happen to anyone.

The protagonist — a mediocre man leading the drab existence of a clerk — has a vivid nightmare in which the scenes of a shipwreck are unrolled: thrown onto reefs by the gale the oceanliner with three hundred tourists on board goes down. The episodes full of horror and peculiar eroticism unfold one after another.

Let us omit the current of frightening details à la Joseph Conrad — the chaos of sounds, colours and shapes seemingly ordered by an inexorable capricious logic — and turn to the denouement.

Out of all passengers, two men have escaped. Under the regulations of romantic symmetry they prove to have taken the adjacent state-rooms. The waves throw the first one onto a rocky islet. Finding himself at the bottom of a large life-boat, the second one realizes he is alone, amidst the ocean without water, food and oars, while the boat has sprung a leak.

Two days after the wreck, on a serene, sunny afternoon, drawn by an odd current, the boat floats

другой — упираясь коленями в шаткий борт) замирают в немом изумлении, смотрят и, кажется, узнают друг друга. Ни тот, ни другой не в силах пошевелиться.

Как всегда в подобных случаях, сознание сновидца расщепляется — он наблюдает всю сцену как бы со стороны и при этом участвует в ней, играя роли обоих персонажей. Герой как будто ясно слышит плеск воды вдоль бортов, ощущает тошнотворное покачивание шляпки и в то же время чувствует, как обжигает каждый вдох иссушенное горло человека на островке, как солнце слепит глаза, как в босые ступни врезается галька. Между тем течение медленно поворачивает шляпку и увлекает от берега все дальше, в просторы океана... В этот момент, по всем правилам сновидений, герой просыпается.

Что здесь любопытно? Разумеется, нелепо было бы отыскивать в этом сне некий аллегорический или (хуже того) символический смысл, наличие которого спорно, сущность — сомнительна. Гораздо интереснее представить себе сферу (или сферы) чувств, в которые вступают действующие лица. Эти сферы тем занимательнее, чем более вымышленными, удаленными от реальности (более платоновскими) оказываются персонажи.

Что чувствует, например, наш герой, когда, сбивчиво пересказывая свой сон двум или трем приятелям, он натывается на взгляды, в которых сквозит кое-что посерьезнее любопытства? Или когда, вопреки многолетнему житейскому распорядку, он направляется после службы в маленькое полупустое кафе, где просиживает по полтора часа в одиночестве, глядя на дымящийся кофе, непрерывно куря?

Можно ли передать словами то, что переживают персонажи его удивительного сновидения, так и не проронившие ни слова: один —

past the islet sheltering the first passenger. For a moment two exasperated men (one standing on the shore, the other leaning against the unsteady side) gasp dumbfounded and stare as if they recognised each other. Both stand unable to move.

As always happens in such cases, the dreamer's consciousness splits: watching the whole of the scene from outside he participates in it, playing the roles of its heroes. Somehow he hears the lapping alongside, senses the sickening rocking of the boat and at the same time feels every breath burning the withered throat of the man on the shore, the sun blinding him and the pebbles cutting into his bare feet. Meanwhile, driven by the current the boat drifts off into the ocean... At that very moment, according to the rules of dreaming, the hero wakes up.

What is interesting here? It would be silly, of course, to search the dream for any allegorical or, worse, symbolic meaning for its existence is questionable, and the gist — unclear. It is much more interesting to imagine the feelings of the dramatis personae. The more imaginary and remote from reality (the more platonic) are the characters, the more surprising such feelings are.

How does, for example, our hero feel when, spilling out his dream to some pals, he is met with gazes which reflect something more than mere curiosity? Or when, back in his day-to-day life he drops by a small half-empty cafe after work and sits alone for hours watching his coffee steaming, smoking all evening long?

Is it possible to give utterance to the feelings of his dream's heroes who did not say a word: those of

измотанный многочасовым скитанием по волнам, тот, кого в скором времени покроют воды и кому кусок скалы над водой представляется раем? Другой, обессиленный зноем, обреченный умирать от жажды, провожающий взглядом уплывающую шлюпку?.. Какие сны видят они накануне встречи?

И все же гораздо более соблазнительной кажется попытка угадать ощущения трех других неявных героев истории, возникающих ближе к финалу. Что чувствует рабочий типографии, приступающий к набору этого текста? Первый читатель, раскрывающий только что вышедший из печати экземпляр? И наконец, библиотекарь, торопливо пробегающий эти строчки, прежде чем, выполняя директивы руководства, разорвать по диагонали выцветшие страницы запылившейся книжки?

the first man, exhausted with hours of drifting on the waves, who is to be covered by water soon, and who would call cliffs above water a paradise? And those of the other, weakened by heat, bound to die with thirst, watching the boat drifting? What dreams come in their sleep before they meet?

And yet, it is more tempting to guess the feelings of the other three invisible characters of the story. How does the type-setter feel while starting to compose of this text? Or the first reader opening the freshly printed volume? And at last the librarian glancing over these lines before, according to the administrator's order, he would obliquely tear faded pages of the dusty book?

Марат Басыров

★ ★ ★

Вот ты и уехала, оказав тем самым кому-то услугу,
какому-то, мне незнакомому, близкому другу,
ну и, конечно, зеплеванному перрону,
переложившему вес твой на нижнюю полку вагона.
Я, возвращаясь домой, уже явственно видел,
как ты, потерянная, словно кто-то тебя обидел,
сидишь и смотришь в окно в окружении пледа,
не внимая речам ухоженного соседа,
расстреливающего тебя в упор из двустволки
хищных глаз с противоположной полки.

Ты уехала с надеждою на сиротство
того друга, ты в нем находила сходство
с этим городом, который от вокзала до моего подъезда
осиротел после твоего отъезда.
И собор тот, зажатый между домами,
ты его еще рисовала, с синими куполами,
вздыхая, сетует на женское непостоянство,
и уже другая рисует его пространство.

Я думаю: занимающиеся онанизмом
проживают, по крайней мере, две жизни
(не вызывая, впрочем, ни у кого укора) —
за себя и за воображаемого партнера.

ЭКОЛОГИЯ ПАУЗЫ

Щетиной слов заросла поэзия.

Пора брать.

Одна из функций литературного вакуума, можно сказать, морального порядка — быть поражением текста.

Аскетизм вакуумной литературы — достойный продолжатель миниатюры, приковывавшего к себе внимание многих, в том числе и отечественных писателей в 60-е годы («Уктусская Школа» в Свердловске, Всеволод Некрасов и Генрих Сапгир в Москве, Юрий Галецкий и другие в Ленинграде).

Инфильтрация вакуума в литературу в 20 веке была процессом противоположным «утяжелению» литературного знака и таким образом способствовала балансу литературных сил.

Если Колау Чернявский и Ильязд в начале века проращивали литературный элемент, заставляя его на одном месте давать 2-3 пласта («трехстроки»)

Если открытие того времени — знаменитая ЗАУМЬ позволяла слову безбожно вырастать в значении, обрстая тьмой новых дополнительных смыслов, иногда органически чуждых сознанию

Если Крученных — первопроходец абстрактной поэзии — почти уравнивал слово в его универсальности с цифрой

Если Хлебников, открестившись от классических форм для скульптуры текста, позволил себе (и другим) считать текстом нечто аморфное и как бы «неготовое» (наволочку черновиков)

Если Туфанов, соединяя в одной строке Надсона с Хлебниковым и получая в итоге питательнейший дуалистский «бутерброд», мечтал о «птичьем пении», т. е. о замещении текста бытового и приземленного, частного текстом эстетического-отрешенным и всеобщим

Если Чичерин, выпекая свои «пряничные тексты» или создавая музыкальную терминологию для литературных нужд, создал попутно литературный функционализм и конструктивизм

Если весь этот взрыв надоевшего всем текста, ставшего уже «так называемым» и похожим своей банальностью на банан, наконец-то произошел и появилась возможность рассуждать о лучизме не только применительно к живописи и возможность создавать стихи однобуквенные и даже прото-стихи (из каллиграфических элементов, что для европейской традиции не было органичным)

то и уравновесить такую тяжесть литературную могло только нечто конгениальное тексту, а именно ВАКУУМ (текст отсутствия текста).

Вакуумная поэзия — это поэзия с генеалогией. В вышедшем в 1992 г. в Тренто (Италия) «Собрании стихотворений» Василиска Гнедова — первого предчувствителя русской вакуумной и жестовой поэзии, составитель Сергей Сигей пишет: «От замещения слова движением до полного отказа от слова, неспособного быть „знаком поэзии“

не так далеко. Таким образом Василиск Гнедов оказывается у истоков современного синтетического искусства».

Конечно, невозможно назвать Гнедова «вакуумным» поэтом, это поэт разнообразный, и вакуумный мотив в его творчестве прозвучал всего однажды. Проклятие первопроходцев именно в том, что открывая путь, сами по нему они не шествуют, даже не догадываются иногда — что именно открыли.

Гнедов не был теоретиком, скорее гениально-интуитивным практиком. Открытый им в «Поэме конца» путь литературной пустоты не привлек никого из сильных русских теоретиков того времени — у тех было полно своих открытий: Крученых, Ильязд, Игнатъев, Тсрентъев, Туфанов и другие были озабочены свойствами «нового текста», как казалось в то время настолько непохожего на старый...

Европа также занялась новой поэзией с увлечением: дробила текст и мяла, наслаивала и растаскивала по периметру страницы, математизировала и визуализировала до последней возможности, до замещения **ч е м у г о д н о**.

В ряду л ю б ы х возможностей Исидор Изу уловил и вакуумную: почему бы, произнося текст, артикулируя его губами, не произносить НИЧЕГО? (Такой фонетически-вакуумный эквивалент «Поэме конца» Гнедова ставит Изу в число первопроходцев), однако вакуумная поэзия наращивает свой арсенал с трудом, медленно.

Тем не менее «поэты пустот» находили и находят на своей тропе драгоценности, с которыми не сравнится никакое вербальный блеск. «Полу-тексты», потенциальные тексты или просто белые на белом (или черные на черном) тексты — им несть числа, их создавали в России: Гаецкий, Сапгир, Констриктор, Шабуров и другие (в том числе и я). Подобные произведения есть у А. Ника, живущего в Чехии, и у Ливии Казес, живущей в Италии, не говоря уже о патриархе модулирующей в вакуум поэзии немце Гаппмайере.

Но если в 70-е годы у Сергея Сигея вакуум литературный разрабатывался как агрессивное нападение на текст, как бы замуравывание его «живьем» в черный монолит (при этом не важно было — чей текст — свой или чужой, у Сигея черным пламенем вспыхивали закрашенные полностью слова, превращенные в «черные паузы»), то в на первый взгляд аналогичной работе швейцарца Маттиаса Кюна, в три модуляционные стадии закрашивающего большое шрифтовое полотно черной краской, работа менее эстетична, чем у Сигея, но более ясна по приему (может, потому, что сделана на 20 лет позже). Кюн принадлежит скорее к продолжателям, чем к первопроходцам, вроде Франца Мона, гиперпауза Кюна сродни «Черному квадрату» Малевича, у которого впрочем тьма литературных аналогов.

В 80-е годы погребение текста в черной Каабе закрашиваний уступает место пристальному вниманию к ПЛАТФОРМЕ — гравитационной опоре исчезнувшего и уже не интересного ни с какой стороны текста.

Поэтов занимает не то, что текст «несет», и даже не физика и химия самого текста (хотя структуралистам и пост-структуралистам это еще было интересно), а з а к о н ы, позволяющие любому тексту б ы т ь.

Поэтов стал интересовать и поиск НОВЫХ ОПОР.

Выход за пределы страницы и книги посредством выносных платформ-«спутников» — самая актуальная и, надо сказать, редко используемая идея начала 80-х годов.

Внимание к книге как конструкции в 80-х становится подавляющим, и бук-арт празднует свой расцвет в сериях выставок, наиболее интересные из которых состоялись в Португалии, Бельгии, Бразилии и Мексике.

В Германии возникают стеклянные полые чехлоданы-книги с комками мятых страниц в них (Мейер), межстраничная пауза в таком варианте книги, с одной стороны, структурируется, заползая во вмятины и щели страниц-комков, становясь их «внутренним делом» и одновременно контактируя с внешней вакуумной средой всего книжного аквариума, а с другой стороны, четкая серийность паузных ломтей между страницами обычной книги нарушается, превращаясь в спонтанное месиво, автором которого был еще Хлебников со своей знаменитой наволочкой рукописей.

В Швейцарии в конце 80-х на одной из выставок фигурировали скульптуры-рупоры с текстом на внутренней стороне (Фрикер). Соблюдая принцип де-экспонирования (заметка о де-экспонировании за 10 лет до того появилась в отечественном журнале «ТРАНСПОНАНС», имевшем к сожалению тираж 5 экземпляров), швейцарский автор создает не только «внутренний» да еще замкнутый по кругу текст, но и интересный вариант книжной паузы — «колонну» пустоты, которую текст как бы обволакивает, в отличие от обычного обратного принципа, где пауза обволакивает текст.

В России в 1983 г. выходит специальный вакуумный выпуск N 13 журнала «ТРАНСПОНАНС», целиком отданный русской вакуумной поэзии. «Платформными» в том журнале были в основном мои работы, в них загиб уголка страницы не только назывался стихом, но и сопровождался длинным комментарием.

Асом дополнительных платформ-наклеек был в это время (и в журнале, и в целой серии специальных книг) Сергей Сигей. Он воплотил принципы де-экспонирования еще в 70-е годы, помещая свои стихи под белые веки пустых наклеек, иногда целиком, но чаще квантово, сочетая экспонированные и спрятанные элементы в одном стихе. Образующиеся в таких работах паузы как бы раздваивались, становясь двухэтажными (под многими наклейками вообще не было текстов), то вновь обретали обычный вид, и все это заставляло читателя быть внимательным.

Ленинградский поэт Борис Констриктор публикует в 13 выпуске «Транспонанса» свои первые «дырявые» стихи, а в возникшем в это же время альманахе (переработке книги осетинского поэта Хетагурова) «Ир-фаер» квартет авангардных российских авторов: Сигей, Констриктор, Пригов и Никонова трудятся над закрашиваниями и разнообразными способами вакуумизации текстов.

Для Сигея в 1983 г. (год работы четырех авторов над книгой Хетагурова) черные кирпичи закрашенных осетинских слов важны не своей бывшей фонетикой, а количеством и расположением в строке — это уже путь к СИМВОЛУ литературной строки — черной дискретной линии — то, чем потом, в конце 80-х, станет известен Сигей в среде визуальных поэтов мира и что пожалуй роднит его с другим визуальным поэтом, англичанином Крозьером, также пользующим тексты из бессловесных строк.

Поскольку идея транспонирования чужого материала (живописного, литературного, научного и т. д.), заявленная мною в 1969 г. в Свердловске, воплотилась в конце концов (после многих сольных книг) в журнал «ТРАНСПОНАНС», просуществовавший с 1979 г. по 1986 г. и ставший уже в своем роде легендой (увидеть его удобнее всего

в библиотеках и частных коллекциях США, Италии, Германии и Австрии), то теоретические основы метода транспонирования подверглись в 1983 г., во время визитов авторов Транспонанса Пригова и Констриктора в Ейск своего рода творческим дополнением и на основе метода родилось логическое продолжение «ИР-ФАЕРИЗМ» — система идей, практическим воплощением которых была моя, Сигея, Пригова и Констриктора работа с книгой «ИР-ФАЕР».

Пригов, используя метод «черных пауз» Сигея, изобрел массу своих приемов: написание нового текста от руки поверх осетинского напечатанного

вживание в прежний текст знаков корректурной обработки и читательского внимания (пометок), как чисто визуальных элементов

создание из черных пауз общей для всего стиха системы сот, слитых в массив, редкими белыми островками в которых, как мед, плавают оставшийся текст из осетинских слов

создание из этих же черных пауз вертикальных «столбов» сквозь весь стих (идя вопреки горизонтальной природе вербальной строки, Пригов создает «паузную вертикаль»)

ну и, конечно, черные паузные гиперболоиды-монолиты полностью закрашенного стиха (с иногда оставленным в центре словом). Интересно, что аналогичные «белые монолиты» Сигея в этом же альманахе, будучи менее рельефными и теоретически двусмысленными, но более вакуумными, говорят, возможно, о неких кардинальных философских различиях в мировоззрении двух поэтов.

Таким образом работа с платформой страницы и книги, с конфигурацией и фактурой того и другого

замена строчек простыми черными полосами (иногда, например, у Сигея, дискретными, напоминающими азбуку Морзе)

разнообразная аранжировка пауз (я в своем учебнике «Литература и вакуум формальный» аранжировала проколами насквозь все паузы в некоторых стихах средневековых трубадуров) и просто «паузные тексты»

различные обложки и геометрические формы, обрамляющие то, что так и не стало текстом

варианты «книжной скульптуры» из дополнительных мини-платформ

квантовые бритвой порезанные платформы безтекстовых страниц, отличающиеся от аналогичных текстовых книг, изданных в Париже, тем, что там смысл был в хаотичности, спонтанности текстов, возникающих в результате переплетения строк изрезанных страниц, здесь же, ввиду отсутствия текста, дискретность платформы акцентируется сама по себе, подчekiвается ее возможный кинетизм и фонетизм (шуршание разрезанных пустых полос страницы — «флейты», такая моя работа вместе с записью «шуршания» была опубликована в Канаде)

все эти и другие вакуумные возможности вплоть до вариантов замещения исчезнувшего текста не пустотой, а любым изображением, схемой, формулой и даже предметом (как бы новый текст и в то же время очевидный вербальный вакуум), все это составляет сейчас арсенал вакуумного поэта.

Однако, создавая сотни подражательных «Поэме конца» Гнедова и акции Изу произведений, поэты мира по-прежнему не создали вакуумной СИСТЕМЫ ПРИЕМОВ, подобной системе вербальной.

Я пыталась это сделать в своем исследовании «Литература и Вакуум Формальный» (450 страниц), но проблема требует, видимо, коллективного освоения — слишком огромен пласт почти не тронутого материала.

В визуальном, конструктивном, а ныне и в смысловом плане вакуум, окружающий каждый элемент текста, есть контекст. Но он шире, объемнее, а иногда и значительно порождает им же текста.

Вакуум пустой страницы таит в себе мириады текстов и — отдельно — смысловых возможностей, а в последнее время он позволяет себе быть и знаком ЛЮБОГО ТЕКСТА (текста как такового), и даже шире — ЛЮБОГО ЗНАЧЕНИЯ, любой ЗНАКОВОЙ СИСТЕМЫ.

Всеобъемлющность, «соборность» вакуума дает ему 100 очков форы перед конкретным текстом, который может только сотрудничать и сосуществовать с вакуумом, но не может его породить.

Нет слова, достаточно емкого, способного создать пустоту ИЗ СЕБЯ. Ни слово «ноль», ни слово «пустота», ни любое подобное не способны собрать в себе присутствие и отсутствие и затем «отдать» последнее (или первое).

Любое слово — всего лишь ярлык, вербальный договор, в то время как вакуум очевиден и позволяет ВСЕ. Удивительно демократичная и плюралистичная субстанция.

Но есть и не столь очевидные вакуумные категории, например «вакуум созидания». Присваивая чужой текст, его «второй автор» не позволяет себе творческой работы, но совершает значительное «усилие присвоения», нередко терпя при этом моральный ущерб, если, например, присвоенный текст никуда не годный.

Давая свое имя (часто не скрывая при этом истинного автора произведения), поэт-плагиарист рискует, что в значительной мере оправдывает его якобы бездеятельность.

Такая категория вакуума была наиболее модной в конце 80-х годов, фестивали Плагиаризма проводились в Сан-Франциско и Лондоне (в последнем я участвовала).

Отсутствие текста на странице, естественно, не единственная форма не существования текста.

А если нет самой страницы («Книга без страниц» или «Книга-монолит»)

А если текст еще (или уже) в голове у автора? Или — что честнее — в голове Бога?

Или в виде зародыша болтается где-либо во Вселенной?

Или обретается в бестерриториальном виде: только во времени, без всякого пространства?

Современная физика, химия, биология, на мой взгляд, давно требуют адекватной им литературы — нынешняя же литература по своим теоретическим основам ползает где-то на уровне Ньютона.

Например, ученые после многолетних усилий обнаружили, что один атом гелия, составляющий молекулу и до сих пор не соединяющийся с другим атомом гелия, все-таки образует пару при предельно низких температурах.

Наши же текстовые «молекулы гения» температурные и контекстовые проблемы оставляют за бортом. Никого не интересуют ни запах текста, ни температура его платформы, ни даже способности текста к сжиманию или расширению в процессе потребления читателем.

Капризы внимательности читателя порождают — иногда — беспаянность (бесперывный текст) в противоположность вакуумной поэзии.

Экономия на паузах, нагнетая информативность содержания, наша цивилизация исходит из интересов потребителя, считая, что тот хочет получить больше содержания на единицу времени и пространства.

Но больше содержания — это меньше вакуума, т. е. меньше того, что не менее ценно.

Недаром наиболее устойчивой формой преподнесения читателю стала форма параллельного сосуществования двух строк: вакуумной и текстовой. (Прием становится более выразительным, если пустое пространство между текстовыми строками, т. е. вакуумную строчку оформить цепью пауз, заключенных в скобки).

Пауза рождает текст с музыкой, с ее умением пользоваться тишиной.

И хотя в литературе нет хронометрических обозначений для пауз, как в музыке, и еще не выработан удобный графический язык литературных пауз, но и музыкальные обозначения, будучи поставленными в текстовый ряд, не теряют своего смысла.

При определенных условиях стремление текста к вакууму столь же естественно как процесс умирания.

Вначале, словно в архитектурных построениях Миса ван дер Роэ, возникает «пространство без перегородок», т. е. внутреннее пространство стиха обретает некую полость, центробежные силы раскидывают ментальность и саму физическую массу шрифта на периферию и текст приобретает бордюрный вид.

Потому что надобность во внутренней дискретности пропала с изобретением более прочных материалов и конструкций для так сказать «купола».

И текст, обтекая вакуум, напоминает небесное тело, а не земной «предмет».

А дальше включаются диффузионные процессы, стенки становятся мембранами, всасывающими паузы, ломается строка, пухнет слово, ориентация чтения теряет свою одиозную однозначность (слева направо), и вакуум сочится, просачивается в нашу литературную низко расположенную Смысландию, в которой с таким усердием мы намывали дамбы текстов.

Попытки объединить разнородные вакуумные приемы в стройное целое есть: это и

книга «Вариации одного и того же» Раймона Кортеса (Австралия), и «Эмбрионы» Хьюго Муддо Джуньора (Бразилия), «Спационализм» (Пространственная поэзия) Пьера и Ильз Гарнье (Франция), и мой неизданный, поскольку я живу не в Бразилии, «Тонежарль» (1982 г., 750 стр.), и другие подобные универсальные книги.

Очевидная несбалансированность авторских концепций в этих книгах подчеркивает многоукладность поэзии.

Наиболее отделанной выглядит книга Гарнье — Ильз и Пьера, отдавших занятиям поэзией более 40 лет жизни. В этой объемной книге, изданной в 1990 г. в Париже, полной превосходных работ в конкретной, векторной, минималистской, интеграционной и вакуумной стилистике, снабженных комментариями известных критиков и мировых поэтических величин вроде Гапмайра, два изобретателя «пространственной поэзии» добиваются впечатления серьезного научного исследования при высоком поэтическом градусе. И хотя вакуумных работ в книге не так много, их качество и разнообразие внушают несомненный интерес: например, работы Пьера Гарнье 1986 г. с «просто линиями», то поданными как своего рода пауза, то сформировывающимися в куб для «размышлений об эхе», то в виде осей координат (или креста?) занимающим то пространство, которое, займи его ЛЮБОЙ ТЕКСТ, вряд ли выглядело бы более значительным.

Векторные работы Ильз Гарнье, доведенные до последней стадии минимализма: крохотной точки в углу страницы (с указующим вектором к ней), служат прекрасным переходным мостом к поэзии вакуума.

После таких работ (может быть, именно в силу их совершенства) ничего не остается, как заняться «вакуумным промыслом».

Подобно Гарнье, многие работы Джульора посвящены «философии знака», и не менее часто — философии книжного пространства, и даже, если можно так выразиться, философии страницы (книга издана в Бразилии в 1977 г.)

Джульор перебирает множество вариантов расположения ЛЮБОГО знака (в книге замещенной точкой) на странице, соотношений знаков, соотношений вербальности и визуальности (их эквивалентности) — и все это наглядно, практически, можно сказать — формулами.

Будучи в несколько раз тоньше и меньше по формату, чем работа Гарнье, книга Кортеса (1991 г.) вместила в себя целый космос полиграфических возможностей, коллажных ухищрений и ничем не ограниченного вербального диапазона.

В иные моменты издание Кортеса напоминает полиграфический Везувий, в потоке извержения которого бессмысленно отделять что-либо и классифицировать. Но автор классификацию не игнорирует, иногда даже акцентирует свои «стратегии», в ряду которых «стратегия тишины» занимает не последнее место.

На практике Кортес вакуумность почти не демонстрирует, предпочитая вербальные о ней лозунги или небольшие геометризованные «резервации».

Мой «ТОНЕЖАРЛЬ», в отличие от трех упомянутых книг, это учебник современной литературы — с разработанной СИСТЕМОЙ взаимосвязанных стилей и приемов и аннотацией их.

Каждый стиль в соотносимости с названием иллюстрирован примерами из моей поэтической практики: стихами жестовыми, интегрированными (с математикой, биологией, музыкой или живописью), квантовыми, спиральными, векторными, заумными, абстрактными, полифоническими, кластерами, архитекстурами, акционными, паузными и т. д.

В «ТОНЕЖАРЛЕ» я старалась поставить вакуумную поэзию в ряд других поэтических стилей и думаю, что при всей значимости вакуума, это было правильно, ибо поэты всегда находятся в той точке, в которой рождение и смерть литературы происходят непрерывно.

Все поглощая и как бы аннигилируя, вакуум столь же непрерывно рождает из себя самые разнообразные «содержания».

И хотя в последнее время скорость рождения текстоподобного искусства замедлилась, а рассасывание по «пустым закрамам» увеличилось и образ поэта снова «одухотворился», стал не-материальным, заумным (эдакое «Облако в штанах»), все-таки образец поэтической продукции теперь совершенен:

ВСЕМИРЕН

ВСЕПЕРЕВОДИМ

Поэтому, скорбя о буквенных системах, провозглашая их конец, мы вполне можем заявить: «Текст кончился. Да здравствует текст!»

Доклад «Экология паузы» был прочитан 24. 04. 1993 г. в Тамбове на научно-практической конференции «Поэтика русского авангарда».

Текст публикуется в авторской редакции.

ФРАГМЕНТЫ

Проблема геометрии.

Эвклидовое положение геометрии — находка для традиционной графики в алфавите. Растянуть т. н. букву в пространстве листа: бумага — да и только! Простое, умозрительное решение. И взрыв его через виртуальный ход. Когда пересечение прямых видится незакончено, объемно и проблематично. Кто утвердит, что горизонтальная перекладка т. н. буквы *Н* соприкасается с вертикалями и является вообще отрезком? Что указывает на ограничение вертикалей? Изображение в геометрии отражает положение не только прямых, но и плоскостей, объемов, точек и т. д. Буква — количество, а не знак-значок. Она выносит больше и шире того, что мы в нее вкладываем по Эвклиду.

Переход.

Зрение и голос буквы относительно есть. В стольком же поведении, но без человека бывает буква сама. Происходит исправление твердости и обязательности. Для живости, равно сохранности дыхания общего. А движение в границах вызывает искажение — скажи. Вот уж и задумываюсь: в виде эр, что-то из эсть, что-то фэ. И все не человеческих замыслов рань. Та же тяжесть, воздух и вода. Порою думается высматривание буквы из буквы, перпендикуляры особые, молекулярной структуре подобные... Вздывается с каждой печатью новость, с каждым ходом. Так закрывается перечень букв от грубости вымысла, переходит расстояние разного.

Новая иллюстрация Сергея Проворова.

Количество книг помещается в кастрюлю с раствором марганцовки (зеленки и т. п.) и вываривается на слабом огне некоторое время. По чину просушки начинается обжиг. Товарищ иллюстратор. И если минималист Игнат все тщится возмочь из белого бумаги, Проворов рискует (чем?) и строит то, что в миру назовется «illustration», от активной борьбы с бумагой. Таким образом составляется новый предмет, в котором нет радости, а слитность, неразорванность всех частей как книги, так акта чтения, то бишь смотрения. Товарищ иллюстратор футуризма.

Библиошест.

В ходе предстоящего преобразования чтения в смотрение, а слова в звук-!-линию, понимается выпадающая роль библиотек как:

— прибежище случайных напрасных посетителей: бомжей, любовников, летчиков и прочих тем подобных;

© Филиппов Игнат (лексика, орфография, пунктуация)

- изменение технологии библиотечного дела. К оной за чтением будут приходить сами работники, другие за другим;
- поведение библиотеке за светом, размещение стелажей с книгами во дворе здания, под плохим навесом;
- настоящие библиотеархитектуры как просторной, высокой и удобной.

К вопросу особой постановки библиотечного дела надлежит относиться особенно и серьезно, к чему ряд возможного удовлетворения:

а) читатели выбирают руки соседей, закрывают глаза, кто-то выполняет частную роль: шелестит страницами.

б) запретить выдавать книги. Или выдавать, но запечатанными в плотную однотонную бумагу: из таких книг можно выстраивать простейшие архитектуры;

в) в устроенный камин можно их складывать и поджигать.

Библиотека выполнит наконец количество культуры и покой чтения не получится. Смотрение.

1995

ПРОЗАИЧЕСКАЯ ПОЭМА

1

Когда последние пять листьев клена
еще желтеют,
у природы насморк,
день длинный,
как период Цицерона,
(еще не сочинял длиннее монолог Сервантес).
День рвется посредине,
как провод, уходящий в бесконечность,
не выдержавший собственную тяжесть,
как тихо на душе...

2

Район торговый, но спокойный,
проспект, как Горная река,
не знающий о том,
что суть всего — движенье,
текущий просто так,
дарящий пустоту полуслепых парадных,
слепых огромных окон,
статуй, изъеденных дождем —
мы этого не видим,
спеша, не поднимая головы,
заглядывая только в этажи
второй и первый,
не выше,
и в пролеты лестниц,
в которых солнце
(пыльный столб)
живет недолгим финским летом.
Пожалуй, умирать приду туда,
куда всю жизнь ходил обедать.

3

Всего на свете хуже
день, прерванный несбывшимся свиданьем
или
несостоявшимся собраньем
(что, по сути дела, одно и то же);
тогда глядишь на дождь,
мучительно стараясь пснять,
что он такое...

4

Коньячный спертый воздух гастрономов
и минерально-пыльная вода;
район торговый; среда.
Теория среды, а утро юно;
я окунаюсь с головой в прохладу улиц,
нарушая тишину которых
автобусы гудят, как скарабеи,
еще не выбитые на лазури.

5

Как тихо ночью!
Так тихо, что кажется,
будто не бьется сердце;
или оно и впрямь не бьется?
И, как испуг,
врывается в ночную тишину
рев пароходов,
прикованных к причалам за ноздрю.

6

Дождливая зима,
день катится к концу,
все больше обретая форму
лепных карнизов,
проступающих сквозь темноту;
фильм кончился,
а утро далеко —
не докричаться...

7

Один.
По линиям пустым меня несет трамвай.
Мы остаемся в памяти друг друга;
в памяти собора хочу остаться,
обманной,
как стекло трамвая,
которое совсем не отделяет
от мокрых веток,
луж, в которых стыннут фонари.

1972

-Баден

**Целый день слоняюсь без мысли, цели
и желанья. Баден-Баден имеет удивитель-
ную одуряющую силу.**

П. А. Вяземский. Старая записная книжка

ИЗ КНИГИ «САД БАБОЧЕК»

ЗЕРКАЛО

Х. Б.

I

Ночь. Зеленое облако
Липы — под фонарем.
Все, что могу я — поблаго...
Только когда умрем,
Верю, — дарить попробую
Всю любовь — целиком,
Пористую, подробную,
С дышащим молоком:
За ночь — до пены Кипра ли? —
Взбитая простыня...
Но, полюбив, мы выбрали
Оба — «прости меня».

II

Я люблю, — но иначе нельзя, поверь:
Кто-то кровосмешенью тел,
Я уверен, спасая нас от потерь
Запредельных, кладет предел
На земле... А в небе — душа вольна
— с любым облаком! о, с любым! —
Ночевать, набегать, как на брег — волна,
На искрящийся голубым
Свод... И если внизу, слепя
Зренья, слушаешь ты, — поймешь,
Что тебе не отказывать — от себя
Отказаться... А это — ложь.

III

Я знаю, что со мной, и знаю, что с тобою...
Но темною виной с мечтою голубою
Нельзя прожить, стыдись и мучаясь при этом
Неправдой... Если связь меж чернотой и светом
И существует, — то другая. «Я» другое —
Воистину Никто. Оставь меня в покое,
Любимый... Двум Никто возможно слиться только
В Ничто... Но все — не то... Ты рад?.. И я — нисколько

IV

Что мне делать с *такой* любовью?
Ты пойми, я другой, другой!..
Не совпасть нам плотью и кровью —
Только речью, душой, тоской.
Только темной водой канала,
Чью поверхность нам не разбить:
Отраженье с тобой совпало —
Не со мной... Так тому и быть.

Повторение тела в теле,
Заполнение собой в ночи
Той инталии льна постели,
Чьи проталины горячи...
Кто тут форма, и кто тут слепок?
Неужели Создатель слеп?!
Тот не слаб, кто душой не крепок —
Детским лепетом лишь нелеп.

Двойника ли ласкать? Но, зная,
Что потом! — не хочу... Совпасть
Невозможно: стена — сквозная,
Потому и не в силах страсть
Разнести ее: видишь — нету...
Совпадение тебя со мной —
Это *зеркало*... Тени — к свету
Тайно тянутся за спиной.

1995

Алексею Пурину

Европа-царевна прекрасна во гробе;
Евразия, Боги, — страшна и жива...
Что делать живущему: нравятся обе,
Но хочется, чтоб услышала слова,
Открыла глаза и теплом человечьим
Согрела, всей кожей бархатной — та...
Но что им страданье безумное, речь им
Твоя, колыбель и погибель листа...

О, двух одиночеств ночная попытка
Совпасть — на мгновенье, увы — в золотом
Безмыслии неги... Желанней напиток,
Чем Лета, должно быть, не будет — потом.
Не знаю — Платонополь или Петрополь
В окне... Пыльный тополь, — тебе мой привет!
Красив, успокаивающ ли некрополь?
Наверное — да. Только жизни в нем — нет.

Но где же сойтись им? Мертва Галатея,
Божественна, принадлежа тишине

Забвенья... От извести кровь, холодея,
Нежна, тяжела в евразийской стране —
Живой и горячей, что в лютую стужу,
Грозя наступающей смерти отсель,
Способна согреть теплокровную душу,
Набросив на голое тело шинель.

1995

Перемолчать и этот день — еще один перетерпеть...
А жизнь уже уходит в тень, пожалуй, больше чем на треть.
Не скажешь сердцу своему: замри на время, а потом
Забейся... Грустно одному идти домой... И где он — дом?
Дела, и дети, и тела ночные... И душе во тьме
Добра не отличить от зла, поскольку нечто на уме
У нас такое, от чего мы прячемся, понять боясь
Стыда причину своего и нашу кровную с ним связь.
Кому сказать о том, что Бог сам, верно, знает, но Кому
Не скажешь, сдерживая вздох: я верю благу Твоему.
Ведь обесмыслено, увы, все-все — вот именно — всем-всем:
Речь — шелестением листвы... но если ты, тем паче, нем,
И слеп, и глух — платить долги, которых нет, еще страшней:
Ночей не отличив от дней... А Бог не скажет: помоги.

1995

Счастье мое, нам уже не надо
Лишнего брать, — налегке уйдем.
Райского сада видна ограда
Только при жизни. И ад — потом.
Кроме своей — недостойн, Боже,
Чьей-то любви я... Ты все поймешь.
Каждый из нас говорит, похоже,
Лишь о себе: на Тебя похож.

Жизнь или песнь — палимпсест копирки
Полупрозрачной, почти слепой:
Сколько тут слов полегло! — до дырки
Вытерта ночь, — что само собой
В Питере летом... Тысячелетья
Кончились. Дальше — одни нули.
Выше... туда не могу смотреть я:
Не было б неба — не будь земли.

1995

Вода в канале вытерта до блеска...
Я очертанья мягкие найду
На темной глади — до листка и всплеска:
Гляди, — Коро в Таврическом саду!

О, натяжение тонущих пейзажей!
Их сумеречный лоск — и глубина
Такая, что с душой сравнима нашей,
Покуда не исчерпана до дна.

Вот — образцы... И мы, лишь подражая,
Находим их... Слетает с липы лист...
Круги растут... И кажется — большая
Жизнь впереди, невольный копиист.

1995

САД БАБОЧЕК

...продленный призрак бытия...

Набоков

1

Вот бабочки — набросками с природы,
Поспешными мазками на шелках
Возводят свой шедевр архитектуры:
Движение крыл, похожее на «ах!».
Из воздуха — ступеньки и часовня,
Песочные часы на солнце бьют;
И куколка-родня, и куколь-ровня
Растут и строят крохотный уют.
Их зодчество с ваянием незримы,
И, может быть, поэтому они
Прекрасны столь, сколь неостановимы
Мгновения... постой, повремени!
Ведь бабочка не зря собой рискует,
Макая в воздух крылышко, и вот
Она уже сама себя рисует,
И на рисунке явится не все,
Но выпорхнет на нем — и оживет.

2

Из воздуха скорей — два лепестка
Порхающих: так в баночку с водою
Прозрачною — художника рука
Обмакивает кисточку, но с тою
Лишь разницей, что в пустоте сухой
Смешались капли, и цветная дымка
Струится, не мутнея, — вот покой
Почти фотографического снимка!
Ведь невозможно жест остановить
Подвижной кистью, время упуская;
Здесь нужен штрих, тут надобно ловить
Мгновение, чтоб выяснить, — какая
На самом деле жизнь была в тот миг...

Но как мне обозначить то мгновенье?!
Все кажется, что я его настиг...
Так в темноте еще мерцает блик,
Когда внезапно гаснет освещенье.

3

Вчерашний день: не пойманный — не вор?
Но ощущенья памятные мнимо
Вернут мне замутненный страстью взор,
Что купиной горел — неопалимо.
Прозрачной тенью дрогнувших ресниц,
Сомкнувшихся, сказавших «да, согласна»,
Живая жизнь, не сохраняя лиц,
Уходит в тень иную ежечасно.
О! — бабочка ночная свой хитин
Еще не весь успела на пол скинуть,
Ажурнейший хитон из паутин,
Чтобы желаньем чутким смог я вынуть
Ее потом из кружева, извлечь,
Помочь расправить воздух, обладая
Формующейся где-то между плеч
Крылатой тьмой, которую сберечь
Не сможет утром комната пустая.

4

Так невидимка пудрится, в щепоть
Сложивши пальцы, бабочка в которых
Трепещет, обозначивая плоть
Бесцветную, пыльцу сухую в порах
Воздушных оставляя... все цвета
Переберет жестокая, — ей мало
Оттенков только с этого куста,
И с этого... так бабочка порхала
На пудреницах летних — чуть жива —
По прихоти красавицы незримой,
Которая намечена едва —
Лишь для того, чтоб не казаться мнимой.
И розовая сыплется пыльца,
Лиловая и желтая, но все же
Она ничем не выдает лица,
Не сообщая очертаний коже,
И, может быть, поэтому — о, Боже! —
Твой замысел не ясен до конца.

5

Я думаю, у бабочки внутри
Находится — как в коконе — другая,
А в той — еще одна... И так, их три.
И так они летают, помогая
Друг другу удержаться на весу...

А если крылья первая и сложит, —
Вторая расправляет их: спасу!
И третья им двоим всегда поможет.
Кто оболочка здесь, и кто — душа,
Что плотью тяготится? Чье тут бремя,
Где — крыльями махая и маша —
Из вечности выпархивает время?!
Ведь что-то там, в груди у нас, дает
Надежду, что и мы не одиноки,
Но совершаем гибельный полет
Внутри Кого-то большего, Кто сроки,
Отпущенные нам, продлит вот-вот.

6

Не нужно ссылок: всякий сам поймет,
В каких силках ты прежде побывала,
И сколь опасен смертный перелет
Из ангельского аэровокзала,
Из жизни в жизнь — который год уже —
Проскальзывая там, где, вероятно,
Протиснуться возможно лишь душе,
Не думающей, как попасть обратно.
Зазор таков, что профилем крыла
Психея западает в мир, подобно
Тому, как амальгама — в зеркала,
Самих себя рисуя нам подробно.
А здесь, где нашей жизни недолга,
Нельзя бессмертье рассмотреть дотошно:
Я не гляжу — и нету двойника;
А если есть — меж нами та фольга,
Которую мне вынуть невозможно.

7

Во тьме лабораторной, от лучей
Сиюприродных прячась — как в утробу
Небытия, которую ничей
Не пронизает взор — любовь ли, злобу
Равно таящий; в душевной тесноте
Уединенья, унеся с собою
Все краски жизни, отбирая те
— там, в темноте — которые судьбою
Как будто предначертаны (потом
все так и будет выглядеть); во мраке
Египетском, хитиновым бинтом
Опутана, сердечные тик-таки
Взяв за основу времени, — она
Себя осуществляет, оболочку
Меняя, целый мир: и явь от сна
Неотделима, перерождена
В крылатую строфу, в живую строчку.

Остановись, сравнение! Пстой,
Метафора души, метаморфоза
Аморфной жизни в мертвенный покой
Беспамятливом метемпсихоза!
Пусть легионы бабочек летят
По эту жизнь, вытягивая сяжки
В грядущее — туда, куда возврат
Немыслим... Ведь рожденные в рубашке
Крылатые создания — и те,
Из достоверных выбравшись волокон,
Обречены на гибель в пустоте,
Которой не понадобится кокон.
Да будет многоярусным их сад,
И флот их — многопарусным, — какому
Мир многогрустный, я надеюсь, рад —
Как пастве той, что — от небесных стад
Отпав — припала к пастбищу земному.

1989 — 1995

ИЗ РОМАНА «АВАНТЮРЮГА»

4

Снова был у Самойлова. Я не купил коньяка в Таллине, полагая, что это возможно будет сделать и в Пярну (зачем зря тащиться с бутылками), но там коньяка в магазинах не оказалось. Никакого. И я решил купить шампанского. Но еще в очереди, в виду вожделенных бутылок, я стал сомневаться. Обширный опыт показывал, что шампанское пьется быстро, а я так и вовсе глотаю его мгновенно — оно для меня все равно, что сок или даже вода в летний зной. Поэтому я купил еще сухого вина и бутылку очень крепкого, сорок пять градусов, и тягучего, отнимающего способность шевелить ногами и языком, эстонского ликера «Старый Таллин», запечатанного в керамическую бутылку, исполненную в виде средневековой башни.

— А, здравствуй-здравствуй, — сказала его жена Галина Ивановна. Я заметил, что она уже была немного навеселе — красноватые щеки и растянутые и более глубокие мелодические интонации, — но только, Юра, ради Бога, подождите доставать: что вы там привезли...

— Да что я там привез... Так, какую-то чепуху.

— Нет, нет, и еще раз нет... Мы с Дззиком не пьем.

— Как, совсем?... — это было удивительно еще потому, что не далее, как в нашу прошлую встречу, всего недели две назад, Давид Самойлович рассуждал о том, что если мужчина не курит, не пьет и равнодушен к прелестям и достоинствам женщин — он или серьезно болен, или у него не совсем хорошее на уме. От такого лучше держаться подальше. Может быть он кого-то цитировал, да он наверняка цитировал, и я даже знаю кого он цитировал, но смысл не в этом, а в том, что кто не пьет — тот дурак...

— Да, мы не пьем совсем... — сказала Галина Ивановна, и добавила, — в данный момент... Потому что мы уже приняли и думаем, что нам сейчас пока хватит. Через два часа у Дззика выступление. Каждый год город резервирует для него зал — это уже стало традицией. Мы просто обязаны относиться серьезно... Многие специально едут издалека...

— Извините, а мне тоже можно?

— Он еще спрашивает!.. — вынырнул из своего кабинета в коридор Давид Самойлович. Герой дня был в белой рубашке, в наглаженных костюмных брюках и пиджаке. Оставалось только бабочку повязать... — Конечно! Я тебя приглашаю, мы вместе поедем, они за мной присылают машину... Мы тут с Галей и с детьми, с Павлом и с Пашкой, читали твою армейскую повесть... По-моему, это серьезно. Но мы об этом с тобой еще поговорим... Вообще, оставайся у нас и живи тут на даче сколько захочешь...

— Давид Самойлович, а Галина Ивановна сказала, что вы не пьете совсем...

— Да-да. Надо быть, знаешь ли, в форме. Да и платят они мне столько, что потом до конца года можно всей семье преспокойно жить. И это всего два концерта. Вчера уже один был. Полный аншлаг.

— И заметьте еще, что Дззи просто любит общаться с людьми! — крикнула Галина Ивановна из кухни.

— Но у меня ничего такого нет, — сказал я, — так, шампанское...

— Галя, у него шампанское. Почему бы нам не выпить шампанского?! — крикнул Давид Самойлович в сторону кухни...

— За твое здоровье, сказал он мне. — Тут недавно был Ф. И., вы с ним разминулись тогда чуть ли не в тот же день... Он тоже читал твою повесть и между прочим оставил тебе письмо, я думаю, что он бы не стал писать просто так, он не такой человек... Вообще, тебе надо бы собрать свою книжку, а я напишу предисловие...

— Да ладно, Давид Самойлович. Конечно, я мечтаю о книге, но я приезжаю к вам не за этим. Сначала может быть ездил к вам и за этим, но теперь как-то забыл, что ли...

— Ну хорошо, не хочешь книгу, тогда я приму тебя в свое тайное общество под названием ЖОПНОБ — жолающих получить Нобелевскую премию. По-моему, это серьезнее, чем какая-то книжка. Тем более первая проходит почти всегда незаметно.

— Я тоже об этом думал и, пожалуй, я начну со второй...

Через несколько минут шампанское кончилось.

— Оно было вкусное, — сказала Галина Ивановна, грустно заглядывая в пустой бокал.

— Для меня всегда удивительно, почему такие большие бутылки так быстро кончаются, — сказал я, — стенки, наверное, толстые?..

Рамы были открыты настежь. Пиликали птички. Свежие листья сирени, чистый асфальт улицы Тооминга, окна в бюргерском двухэтажном доме напротив (копия дома Самойлова) временами лучились на солнце...

— Между прочим, — заметил я в задумчивой тишине, — я купил еще бутылку «Старого Таллина» и сухое вино.

— Да ты купил целый магазин! — воскликнул Самойлов.

— И все потому, что не нашел коньяку...

— Понятно, — сказала Галина Ивановна, — они своей неумной политикой добьются того, что скоро все развалится и исчезнет. Но ликер пить мы не будем ни в коем случае. Категорически. От него мозги свалятся набекрень.

— Но сухое вино, пожалуй, не повредит, — сказал Самойлов...

— Тебе виднее, — сказала Галина Ивановна, — тебе выступать...

— Открывайте! — скомандовал он. — Галя, принеси ему штопор...

Когда я был помоложе, где мы только не выступали. И в состоянии разном... Ездили обычно бригадой. Какие-то областные центры, районные города... То поездом, то электричками, то пароходом... например, в Кострому или Горький... Однажды целый день возвращались до Москвы на разных «Аннушках», то на одном, то на другом, знаешь, такие биланы... Помнится, без конца садились в каких-то глухих деревнях... Бабы с мешками, в мешках поросята — то хрюкают, то визжат, бабы лугают семечки и такой вид у них, будто не в самолете, а на телеге едут. Да и самолет тот, в самом деле, дрожал, как телега и все попадал в воздушные ямы... Можно себе представить, каково нам было с похмелья...

А вот тут недавно еще. Этой зимой... Выступал в ЦДЛ... Я, как обычно, на сцене у микрофона, а ее брат, — он показал на Галину Ивановну, — он, кстати, скоро подъедет, я тебя с ним познакомлю... Ее брат стоит за кулисами с бутылкой коньяку наготове. По первой мы еще до выступления выпили... Я говорю с публикой, читаю стихи, а сам все время думаю, что он же стоит там с бутылкой и ждет. Оглядываюсь. А он мне показывает — рюмка уже налита! Тогда я ухожу за кулисы, выпиваю, иду обратно. Через минут десять чувствую — надо выпить еще... Как можно солиднее кашлянул и отошел. Там, за кулисами,

рюмочку наклонил и назад. К микрофону. А потом, после четвертой, меня посещает мысль: что это я все хожу туда-сюда? Я здесь, а коньяк мой там... Вышел и уже не вернулся...

— А люди? — спросил я.

— А они посидели-посидели, да и разошлись... — улынулся Давид Самойлович. — Они рассуждали так: «Что-то со здоровьем у Самойлова видно случилось. Во время выступления несколько раз выходил лекарство принять, а потом ему и вовсе сделалось плохо и он уехал»...

— Я вот что придумала, — сказала Галина Ивановна, — приготовлю-ка я всем нам кофе.

— Это будет очень кстати, — сказал Самойлов, — потому что ликер без кофе пить невозможно...

Короче, когда черная «Волга», высланная за ним, остановилась напротив дома, мы допивали бутылку в виде средневековой башни приторно-сладкого, густого и жутко крепкого зелья, от которого заплетаются ноги, наблюдаются провалы памяти и не слушается язык...

Потом оказались под тенистыми вековыми деревьями, на какой-то центральной аллее, у того места, где был снят зал и где у входа толпился народ, и где было много умненьких чернооких густоволосых стройных девчонок и почти все они кинулись к нам:

— Давид Самойлович, у нас нет билетов, уже все распроданы, а мы так хотим попасть... Ну пожалуйста!

— Вот если мой молодой друг вас возьмет, то никаких проблем...

Три или четыре девчонки ухватились за мою левую, человек пять или больше взяли за правую руку, несколько уцепились за пояс сзади и такой птицей-тройкой мы въехали на поэтический вечер.

Там были ложи, бархатные портьеры, там были амурсы, львиные морды, огни свечей, там были античные ягодицы и сосцы, а в вышине, на расписном плафоне, развевались флаги союзных республик и там же парили ангелы в белой парадной форме военно-морских сил и в синей военно-воздушной. И там, над сценой, в обрамлении лавровых листьев, сверкала золотом надпись, округлые буквы горели, наезжали одна на одну и нужно было сильно фокусировать зрение, чтобы прочитать: «ТЕАТЕАТРТЕАТРЖОПНОБЖОПНОБ»...

Хотя очень возможно — я что-то и перепутал, и, быть может, то наслось несколько позже (особенно, что касается ягодиц и сосков) и ничего такого не было вовсе и наблюдалось лишь в моей забубенной хмельной голове, может быть, даже я там слегка прикорнул?..

На другой день вышла статья в местной газете. Газету с гордостью, чуть не вприпрыжку, притащил и вручил сам местный фотограф. Событию был посвящен разворот, было много стихов и были фото. На одном мы с Галиной Ивановной на первом ряду, я сижу с запрокинутой головой. Кто-то из новых дачных гостей на это заметил: «Вид, прямо скажем, пронзительно поэтический»...

Самойлов иногда забывал отдельные строки, однако его жена всегда приходила ему на помощь. Она знала все его тексты наизусть и временами это выглядело даже так: она, как муза, шептала:

— Поэзия должна быть странной...

И Давид Самойлович звонко и радостно сообщал:

— Поэзия должна быть странной!

Галина Ивановна зловеще шипела:

— Шальной, бессмысленной, туманной...

И поэт, заливаясь детским румянцем и глядя в высокие дали, вещал:

— Шальной, бессмысленной, туманной...

Галина Ивановна, раздувая шею, хрипела:

— И вместе ясной как стекло /И всем понятной как тепло...

Давид Самойлович повторял, а потом его уже видимо спокойно само стихотворение несло по течению:

— Как ключевая влага — чистой /И, словно дерево, ветвистой, /На все похожей, всем сродни. /И краткой, словно наши дни.

И так он выступал, потом остроумно отвечал на вопросы, а в заключение, на ура, прочитал следующее:

— В этот час гений садится писать стихи /В этот час сто талантов садятся писать стихи. /В этот час тыща профессионалов садятся писать стихи. /В этот час сто тыщ графоманов садятся писать стихи. /В этот час миллион одиноких девиц садятся писать стихи. /В этот час десять миллионов влюбленных юнцов садятся писать стихи. /В результате этого грандиозного мероприятия /Рождается одно стихотворение. /Или гений, зачеркнув написанное, /Отправляется в гости.

И сказав это, он попрощался и, на ходу раздавая автографы, направился к выходу. Такова была общая нехитрая, но вполне достойная композиция.

Самойлов отъехал на черной «Волге», как на катафалке, потому что был весь в цветах и не мог шевелиться, чтобы их не помять... У меня тоже в руках оказались подаренные ему же какие-то георгины. К тому же, они были в горшках.

С большим трудом я втиснулся в нанятое Галиной Ивановной такси, в котором уже сидели их «общие знакомые» с бутылками коньяка. Предполагалось большое застолье. В салоне такси сидела, в частности, некая мама, сама еще ничего себе, с дочкой Верочкой, чувственной развитой девочкой, настоящей нимфеткой, которой вряд ли было больше тринадцати лет. Ее бедро упиралось мне в ногу, а мои цветы щекотали ей нос. Я ей вручил горшок — стало не только удобнее, но и тем самым неожиданно мы отделились цветами от всех. Потом я довольно бесцеремонно ее развернул... И она, надо сказать, с большой готовностью села ко мне полубоком. Я сделал почти тоже самое и теперь уже я упирался в нее. Она, как лошадка, искоса поглядывала на меня и очень осознанно придвигалась и прижималась маленьким трепетным задом, и закрывала глаза, когда касание было наиболее полным, живым и горячим...

На ужине, среди набившихся в гости и приглашенных, привлекала внимание невообразимо умная, говорившая низким прокуренным очень уверенным голосом критикесса по фамилии Мымзер. Были еще какие-то мымры, какие-то, видимо, жены известных мужей. Заши и ушли сценарист К., писатель С. и актер Г., отдыхавшие где-то неподалеку. Был кто-то из соискателей рекомендаций. Был известный политический деятель Владимир Петрович Л., который считал обязательным на всякий случай застраховаться от возможных будущих кривотолков, ведь по всей стране шла борьба за трезвость, бесплодная, как и любая б о р ь б а в России (за мир, за чистоту, лучшую жизнь), а тут, у Самойлова, можно сказать был в разгаре пьяный разгул... и вместе с тем Владимир Петрович хотел казаться откровенным и прогрессивным, да и хотелось выпить в конце концов, поэтому прежде чем поднять и осушить свою рюмку, он высказался в том смысле, что такая политика запрещений возможно и преждевременна и недостаточно обоснованна, но ни в коем случае не распространяется на хороший и дорогой алкоголь, «который мы как раз и пьем в данный момент»...

Напротив меня восседала очень прямо та самая Верочка. Она держалась независимо и спокойно, и, как большая, участвовала в разговоре. Самойлов спросил откуда она и что ее привело на курорт?

Она сказала, что они — знакомые Мымзер, потому что папа ее киношный критик, только они живут не в Москве, как Мымзер, а на Украине, в городе Киеве, и сюда они ездят, чтобы подлечиться, потому что папа боится, что на нее повлияла радиация от Чернобыльской катастрофы, и у нее действительно чуть не развилось тогда белоокровие, но сейчас уже лучше... («Да она мутантка, вот что!» — подумал я.)

— Ваша дочь очень красивая, — сказал Самойлов.

— Она знает, — отвечала маман, — на нее уже обращают внимание взрослые дяди.

— Да, это правда, — сказала девочка, — один папин знакомый даже подарил мне «Лолиту» Набокова. Это, говорит, чтобы ты подготовилась...

— Какая низость, — громко сказала Мымзер.

— А в школе? — спросила маман. — Ты лучше расскажи, чем там занимаются шестиклассники на переменах?

— Они на переменах, — сказала Верочка, — зажимают и тискают девочек. Налетят и хватают. У меня потом полдня все болит.

— У нее же грудь, как у взрослой женщины, — сказала Мымзер, — только нежнее. Мы все время загораем на женском пляже, там же все обнаженные... Так вот, среди сотни женщин и девочек не найти подобные формы!..

— Я вообще стараюсь на переменах не выходить из класса, — немного покраснела, но отнюдь не смутилась Верочка, — но даже и хорошие мальчики для меня слишком глупые. Они совершенно не понимают, почему я не хочу с ними дружить...

— Она решила, — доверительно сказала Мымзер, — что она выйдет замуж за министра, не меньше.

— Да, это моя цель, — подтвердила девочка очень серьезно.

— Я думаю, она сможет, — сказал Самойлов.

Немного прошло времени и они (мама и дочь) стали прощаться. У девочки строгое расписание: в десять часов ей надо уже почивать... Мужчины, какие были, как по команде, вскочили и, толкаясь, бросились в коридор. Она определенно возбудила всех. Кто помоложе — жал ее ручку, кто посolidнее — делал напутствие и позволял себе отеческий поцелуй. Самойлов дважды коснулся усами ее ланит, слегка приобнял и погладил по голове.

Я пошел открывать калитку. Там я улучил минуту и шепнул, что буду ждать ее через час около ее дома, пусть быстро скажет, где они проживают.

— Нет, прошептала она, — лучше подожди на соседней улице, на автобусной остановке у санатория «Эстония», если смогу, то буду в одиннадцать. Если смогу... Пока.

Из дома вышел известный политик Л. со своей женой.

— Там чего-то Давид Самойлович разбушевался, — сказал он, — да и поздно уже. В любом случае нам пора уходить.

— С чего это он? — спросил я.

— Да он хотел еще выпить, а Галина Ивановна сказала, что ему хватит...

Давид Самойлович нервно ходил у своего стула и кричал:

— Как она смеет!.. Мне!.. Что-нибудь запрещать!.. Она кто?! Она моя печень?! Она мое сердце?! Кто вообще мне может что-нибудь запрещать?! Мне, поэту с мировым именем!

— Да никто не сомневается в вашей гениальности, — сказала Мымзер, — Галина Ивановна только беспокоилась о вашем здоровье, у вас же давление...

— Я ничего не говорил о гениальности, откуда вы это взяли?

— Из контекста, — пожала плечами Мымзер.

— Да! Да, если угодно — я гений! Вы это хотели услышать? Да, еще раз — я гений, а вы... а вы!.. Да пошли вы все на х..!

Он ушел в свой кабинет, он хлопнул дверью.

Его уговаривал брат Галины Ивановны, обладавший удивительно громким, дурацким и заразительным смехом. Из кабинета довольно долго доносилось его ржание, он ржал, ржал и наконец таким образом уговорил Давида Самойловича. Тот вышел и, проходя мимо меня, сказал: «А тебя я люблю»... На столе появилась бутылка. Припасенный Галиной Ивановной на черный день коньяк лучших сортов. Ее брат, продолжая неудержимо ржать и шутить, всех помирил. Выпили. Потом еще выпили. Кое-кто хрюкнул в макароны...

Самойлов спросил:

— Ты куда?

— Да так, пройду, прогуляюсь к морю, хочу посмотреть...

— Можешь надеть мой пиджак, там прохладно.

— А вы сами давно там были?

— Да я там лет пять уже не был, — ответил Самойлов...

Девочка явилась и мы, обогнув санаторий, по утоптаным песчаным дорожкам направились к морю. Оно было близко, временами доносилось звучание волн... За небольшим тростниковым полем расстился совершенно безлюдный так называемый женский пляж. Было светло от луны, было красиво, песок еще не остыл...

Она просила сначала не гладить ее грудь и не целовать ее губы, но позволяла прикасаться к другим местам. Потом мы оказались в песчаных дюнах, просто я ее взял и отнес. Помню ее распушенные волосы, ее обширный лунного цвета сосок... как она лежала на самойловском пиджаке, наставив прекрасные ноги-антенны куда-то вверх, к далеким планетам... Луна то сияла, освещая шелестящий тростник, то скрывалась за рваными облаками. К нам иногда задувал ветер, спокойно, ритмично шумело море... Мы, как модули одной станции, постепенно соединялись в космической мгле и двинулись медленно и осторожно в пространство... по одной, только присущей нам траектории... и так мы летели долго. До тех пор, пока над нами не сгустились тучи и не стал накрапывать настойчивый дождь...

Когда мы шли обратно, она сказала:

— Ты знаешь, ты не говори никому — я признаюсь только тебе. Тот папин знакомый все-таки сделал, что замышлял, но он это делал не как ты — сбоку, он это делал сзади. И первое, что я тогда ощутила — это было удивление, а потом уже неприятное неудобство и бессильная злость — кто-то шурует у тебя внутри, как у себя дома, да еще яростно так, да еще вжимает тебя в твой же письменный стол, лицом в тетрадку по алгебре!.. А с тобой я поразилась другому — как легко и свободно ты начал, как незаметно вошел... Жалко, что мы уезжаем завтра, ты бы меня многому научил. Я же еще неопытная... Когда я перепробую тысячу мужчин, тогда я выйду замуж за лысого и толстого, и потливого министра... И буду его любить.

Слушая, я случайно сунул руку во внутренний карман пиджака и вынул оттуда паспорт. Мы как раз были уже вблизи освещенной улицы... Я развернул документ, прочитал: «Самойлов Давид Самойлович, 1920 г. рождения»...

— Посмотри, — показал я, — получается, что я — это он...

Верочка рассмеялась.

— Ой! — вскрикнула она вблизи санатория, — кажется моя мама!

В неверном фонарном свете я увидел быстро нарастающую фигуру... Конечно, это была ее мама... Я приотстал. Раздался звонкий удар пощечины: «Ах, ты такая-сякая!» Я ломанулся в кусты... «Бедная девочка, — думал я, — зачем? Ей же больно»...

Они удалялись, Верочка что-то возмущенно и убедительно говорила маме, наверное, насчет того, что просто погуляла и все, и что тут такого? И мамины интонации звучали уже дружелюбнее:

— Ну извини, я же не хотела... Но ты не представляешь, как я волновалась... Ну хорошо-хорошо, иди теперь, девочка, спать...

Людмила Клементьева

* * *

Как бабочка на миг среди ладоней —
оставив карнавальную пыльцу
на пальцах, как приснившиеся кони —
вдоль берега к рассветному крыльцу,
как сорванный гранат — взалхлеб всем соком
разлом — еще живой и сам не свой,
как миртовый веночек — ненароком
слетевший с неба, чтобы с головой
простоволосой нечто пребывало
чудесное, как солнечный поток,
смывающий все темные завалы
всех горестей, как тонкий завиток
от ветки золотого винограда —
моя любовь. Я так тебя люблю,
как, кажется, тебе еще не надо,
и я напрасно плачу и пою.

* * *

Тот город, где шпили готично
российское небо пронзают,
химеры рекламные кривят
отверстые рты над толпой,
снующей среди танков и шопов,
летающей в мегро, в мерседесах,
меж русских — и новых и старых,
в тех кольцах зажавший себя,
тот град фейерверков, пожарищ,
стрельбы и летящих камней,
бомонда, тусовок, разборок
и спящих пугливо людей,
тот — пыточный, мирный, столичный—
стоглавая мгла накрывает.
О Боже, его ты помилуй,
меня ж — из него отпусти!

«O, sole mio»

«O, sole mio», не своди с ума
меня... Звения посверкивают пилы.
В квадрате неба голубь светло крылый.
Где валидол? — погладила карман.

Всем серебром селедкина спина,
хлеб пузырьками воздуха пронизан,
и чай — как воскресенье, и так близок
единственный... И так быстра луна,

что, sole mio, возвращайся, как
чудесный сбой небесного круженья.
О, sole mio, красного варенья
и красной водки инфернален знак.

Кошачья лень, сорвавшаяся в страсть,
движения легки... «О, sole mio»...
Твой смех, мое удержанное «милый».
Не удержалась, чтобы не припасть.
И что мне ум? О sole, sole mio.

НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ

ЛИДА

Как-то раз летом он сидел в сквере, что напротив Финляндского вокзала, под сенью памятника, когда-то определенного им как «всадник на броневике». Погода стояла прохладная, намечался дождь, и свободных скамеек было полно. Но он смутно догадывался, что может произойти дальше. И действительно, именно к нему вкрадчиво подсел белесый гражданин неопределенного возраста, скорее все-таки пожилой, с рыхлым бабьим лицом («бреется не чаще раза в неделю» — автоматически отметил он), в потертом костюме. Человек заговорил с ним, и уже через минуту, расширив глаза, на дне которых полоскалось ускользающее безумие, понес некий псевдоэротический бред: три молодые девицы пристали к нему вчера на улице, завели на чердак... Когда городские секс-безумцы обращались к нему со своими историями, он делался совершенно беспомощным. И на сей раз, чувствуя себя несчастным, он покорно слушал — а псих распалялся все больше: «Они спустили мне брюки, заставили наклониться и по очереди трахали сиськами в задницу, а одна все время сосала...» Самым непостижимым в этой истории было то, что время от времени она перемежалась вполне искренними тирадами по поводу распущенности современной молодежи, особенно девчонок, всеобщего разврата, мерзости и прочее. «Воспалительно-воспитательный процесс», — обреченно думал он, когда шизик внезапно прервался и без перехода спросил:

— А где вы работаете?

Застигнутый врасплох, он поднял глаза, бросил протяженный взгляд по направлению указующего жеста десницы Ильича, — на хорошо известное в питерском народе конструктивистское здание на противоположном берегу Невы, и неожиданно для себя ответил:

— Подполковник КГБ.

Чокнутый быстро взглянул куда-то вкось, мимо него, и растворился в окружающем пространстве, как австралийский абориген в родных степях. «Должно быть, подумал, что и я не в себе — на своей, особой почве». — Решил он, усмехнувшись.

Этот давний случай он вспомнил, когда познакомился с Лидой.

Вообще-то, жить он в целом не боялся, хотя считал себя достаточно виктимным человеком. Виктимным, однако, не в том смысле, в котором это понятие ввели американские криминологи — субъект-жертва, вечный кролик, вольно или невольно провоцирующий убийцу-удава. Нет, его виктимность была иного рода: в качестве слушателя своих ложных исповедей и вымышленных рассказов его избирали э т и люди. И поделаться он ничего не мог. «Они больны, — шаблонно сочувствовал он, — жизнь сломила их, головенки оказались слабенькими...» Впрочем, за их болезнью (мнимой или настоящей) ему подчас виделся самый холодный расчет.

Так почему же, все-таки, он вспомнил тот случай со столь оригинальным коллективным изнасилованием пенсионера, сочиненный, видимо, самой «жертвой», познакомившись с Лидой? Да потому, должно быть, что и в ней явно присутствовала бесшабашная свежесть легкого сексуального безумия — весьма, в данном случае, привлекательного, не давящего. Хотя и тут, вероятно, сыграла роль его виктимность — она выбрала его...

Они встретились в мае, на Невском, в подвальном разливе, известном среди пьющих горькую горожан под названием «Соломон». Он стоял у выхода рядом со своим нелепым ярко-желтым портфелем и давил малую порцию, зная, что по деньгам она сегодня уже наверняка последняя.

Она влетела в злачный подвал, разорвав застоявшийся хмельной воздух, отодвинула очередь у стойки, лихо, без закуски, опрокинула стакан водки и устремилась к выходу. Взгляды алкогольного народа обратились на нее, раздалось несколько одобрительных нетрезвых возгласов.

Он, глядя на эту комету в джинсовой куртке, летящую по винно-водочным сферам, понял, что сейчас что-то должно произойти. Взяв ступенькам, она мимоходом взглянула на него. «Ничего не будет!» — зло подумал он, подхватив портфель, и выскочил вслед за ней:

— Девушка!..

Она оглянулась, посмотрела на него в упор и коротко приказала:

— Пойдем!

Лиде минуло двадцать шесть лет. У нее были длинные ноги с накачанными балетными икрами, маленькая грудь (как впоследствии оказалось, с крупными черными сосками). Она была похожа одновременно на Майкла Джексона и на цыганку (хотя одно другому, быть может, и не противоречит). Жила она в Москве, и на тот вечер, когда они познакомились, у нее был билет на «Стрелу», который она утром порвала в клочки.

Что она делала, чем занималась? Кто же в нынешнее время распространяется о своих занятиях? По ее словам, «бомбила» валютных проституток «на центре». Шесть последних лет жила с пожилым воров в законе (настоящим), умершим недавно. Вроде бы и любила его...

Родилась Лида в далеком алтайском городке. Мать и отца не помнила — и тут она поведала ему леденящий рассказ о том, как уголовник-отец убил из ружья мать, когда та вернулась из роддома с нею, грудной, на руках. За что и был в очередной раз надолго посажен, и сгинул без следа. Она же чудом осталась жива.

Было ли все это на самом деле? История слишком похожа на сентиментально-жесткие байки из тюремного фольклора. (Вот, скажем, один ходовой сюжет: неспасаемая женщина-прокурор сурово засуживает старого вора-рецидивиста. Тот умирает на зоне, а она лишь потом узнаёт, что это был ее отец. И, как говорится, запоздалое раскаяние.)

Лида, Лида...

Он-таки напился в тот вечер — на ее «бабки».

Из ночного сумбура ему запомнилась их оживленная беготня по круглосуточным ларькам (впереемежку с объятиями и поцелуями), его крики: «Лидка, в ларьках не бери, а то уйдем к верхним людям!» — и ее вполне резонный ответ: «А где же еще брать?!»

Мелькнул в недрах ночи какой-то нетипичный ларечный продавец — нервный, с хрупким лицом еврейского мальчика-онаниста. В запале (много берут!) он сунул им лишнюю бутылку.

И уже совсем поздно, у него дома, — она, стоящая на коленях над ним, распластанным на сомканных мокрых простынях. Ее глаза с расширенными зрачками, блестящие в фонарных отсветах. Потом — жесткая терка бритого лобка, прошедшая по его подбородку и губам, а позже — усиленная жжение — напыливание горячей слизи... Потом все пропало...

Они не расставались три дня. Самым лучшим из них был второй.

Добравшись электричкой до уютного курортного городка на заливе, они пообедали в пустом вокзальном ресторане. Затем, прихватив с собой бутылку вина и завернутый в салфетки антрекот, вновь сели на электричку, проехали остановку до дачного поселка, и мимо номенклатурных дач, когда-то принадлежавших финнам, стали спускаться по мощеной дорожке под гору, к блестевшей меж сосен воде залива. Пройдя особняк из светлого камня, именуемый домом творчества писателей, он захотел свернуть ненадолго с дороги, но она ни за что не отпустила его одного.

Май стоял жаркий, и нагретое разнотравье поляны пахло совсем по-июльски. Они стояли плечом к плечу у сосны, и Лида увлеченно направляла веселую янтарную струю то на черно-розовый ствол, выписывая на нем замысловатые узоры, то на траву, одуванчики, листву кустарника, то попыталась сбить шмеля, вившегося над иван-чаем.

Потом они разделись и в очередной раз сплелись, сидя лицом друг к другу на шершавом бревне, потом упали в траву. Потом, не одеваясь, пили вино из горлышка и по очереди отрывали зубами куски мяса от жесткого антрекота.

И пожилые писатели, фланировавшие по дорожке — к заливу и обратно — приглядевшись, видели, должно быть, вещь небывалую для здешних чопорных мест: откровенное мелькание двух голых тел в солнечной зеленой гуще. И, скорее всего, не верили собственным глазам. А может быть (чего не случается!) и порадовались за них...

Настала последняя ночь. Она оказалась бессонной — Лида постаралась выжать из нее все, что можно.

— Знаешь игру в пограничника и его собаку? Ладно, вставай на четвереньки — будешь моим трезоркой. Заступаем на охрану государственной границы! О, все тут у тебя черно — хорошая овчарка...

Он почувствовал на ягодицах ее поцелуй и легкое покусывание. Круги все сужались, и, наконец, напряженный язык чуть вошел в него и запульсировал. Ее руки обвили его бедра и сомкнулись впереди, до сладкой боли усиливая напряжение. На глазах его выступили слезы. В самый острый момент он почти по-собачьи заскулил, ткнулся лицом в подушку и едва не отключился. А несколько очухавшись, внутренне усмехнулся: «Может, тот женоподобный придурок и не соврал?..»

Однажды в тягучий ноябрьский вечер она позвонила из Москвы, рассказала, что строит дачу в пригороде, но на нее стали наезжать («Кто?» — Глупо спросил он), и поэтому ей надо на время свалить, лучше подальше, затихариться, пересидеть.

— Когда мы увидимся? — Безнадежно спросил он.

— Как только — так сразу! — Несколько небрежно бросила она, но потом, уже прощаясь, раза два повторила:

— Все-таки, ты обалденный парень!..

— Не уверен. — Ответил он и повесил трубку.

ПО ТЕЛЕФОНУ

Раньше двенадцати ночи Ирка ему не звонила. А позвонив, первым делом справлялась, один ли он дома (теперь он почти всегда бывал один). После краткого разговора на общие темы она быстро убеждалась и в том, что он пребывает в своем обычном подавленном настроении, не покидавшем его в последнее время. И, таким образом, видя, что исходные данные те же, Ирка со вкусом начинала обычную телефонную пытку.

Впрочем, он как-то узнал, что это вовсе даже не пытка, а секс по телефону. И любители платят за него весьма приличные поминутные деньги. Это, однако, мало его утешило.

— Мы сейчас с Владой, — жарко шептала Ирка, — на ней уже только трусики. Она у нас недавно, у нее очень красивая грудь...

Ирка танцевала в слабопрофессиональном эротическом шоу, выступавшем в одном из ресторанов. И нарочитые поцелуйчики и объятия «артисток балета второй категории» там практиковались — надо же было хоть как-то «завести» клиентов.

Женским чутьем угадывая крайние степени его одиночества после ухода жены, с которой Ирка была знакома по танцевальным делам, играя на некоторых тайных мужских струнах, она, видимо, мстила за какую-то свою обиду — он не знал, за какую и ему ли. Он же, понимая, что надо послать ее ко всем чертям и просто повесить трубку — трубку не вешал.

— Еще сейчас приедет Олеся. У нее такой язык... Выделяет им все, что угодно. А Владка уже плывет... Подожди, не могу говорить — хочу достать ее до конца...

— Перестань придуриваться, Ирка!.. — Он пытался придать независимость тону.

Воображение, между тем, рисовало язычок, поднаторевший в путешествиях по чужим женским телам: от ушной раковины — к губам, от губ — к соскам, от них — по животу — ниже, и выбирающий для себя, наконец, одно из двух отверстий, предварительно разгоряченных пальчиком с коротким ногтем. Тем временем к этому променаду подключается и другой язык, тот, который «все, что угодно», и, поблуждав, занимает свободное место.

— Встал?.. Возьми его в руку. Слышишь, это Владка стонет. Если поторопишься, то кончишь с ней одновременно — она тоже этого хочет... — Гнула Ирка свое.

— Ну ладно, не сердись, пока. Позвоню через пару дней. Мы втроем будем брать одного хорошенького мальчика — он у нас в варьете тоже новенький.

Так бывало несколько раз в месяц.

Вскоре он завел телефонный аппарат с определителем номера. И однажды засек-таки номер телефона, с которого звонила Ирка. А по нему, как известно, запросто можно узнать и адрес.

... Нет, читатель, эта история не имеет достойной концовки. Не жди, что добыв адрес, он ворвется в это «гнездо порока» и перетрахае? в хвост и в гриву всю лесбийскую контру (если, конечно, там еще кто-нибудь есть, кроме Ирки). В этих делах, видимо, не нужна нам подлая реальность — воображение куда надежней.

ВТРОЕМ

Со случайно встреченным приятелем он выпил ноль семь какой-то винной бурды «у Геракла» — в небезызвестном месте, где за спиной древнегреческого Шварценэггера, в вольной позе стоящего на паперти Инженерного замка, в нише — для страждущих — всегда был наготове граненый. А от нескромных взглядов надежно защищала широкая спина первого культуриста.

Разговор, несмотря на выпитое, не клеился — они не сходились ни по одному пункту, какую тему ни возьми, а потому, дабы окончательно не поссориться, поспешили разойтись.

«Трудно стало с людьми ладить» — проскользнула в его голове клишированная мысль, но не успел он заметить, как это произошло — а вот уж ведет он бойкий разговор с двумя молоденькими девушками, стоящими на набережной Фонтанки.

Непитерский говор выдавал в них приезжих. И действительно, были они из русскоязычной области Украины, из старых казачьих мест, откуда, кстати, произошел «первый красный офицер» и где Оксана (так звали одну из девушек) должна была бы величаться Аксиньей.

Вторую девушку звали Яна, и если ее светленькая подруга была, как он определил, «средненькой» — и фигурой, и лицом, то красота Яны относилась к южному типу — невысокая, она была брюнеткой с темно-золотистым оттенком кожи, который являет собой как бы вечный загар, с широкими бедрами, с развитой грудью, но в то же время еще не успевшая вступить в зрелую женскую полноту.

Первые же минуты разговора выдали и разницу характеров подруг — если Оксана была разговорчивой и непосредственной, то Яна — молчаливой и довольно язвительной. И, безусловно, ведущей в их дуэте.

— Сколько вам лет? — Спросила его Оксана — без всякой, видимо, задней мысли.

— А сколько дадите?

— Прокурор дает, — отпустила она шутку с бородой, — ну, лет тридцать семь — тридцать восемь.

— Это я сегодня плохо выгляжу. Обычно дают меньше. А вообще — сорок два.

— Больше, чем нам, вместе взятым, — вступила Яна, — и все девушек клеите. Не поздновато?

— Что вы — я еще только жить начинаю.

Так, болтая, они вошли в Летний сад, прогулялись вдоль Лебяжьей канавки и приблизились к «Амуру и Психее».

— Она никогда не видела его лица во время этого... Как эротично! — Проявила Оксана знание мифологии.

— Увидела, а он потом — тютю, и вся эротика, — усмехнулась Яна.

— Еще бы, — сказал он, — во сне горячим маслом плеснули. Тут любой сбежит.

— Случайно же...

— И все-таки, девчонки, самая эротичная скульптура здесь не эта.

Он подвел их к «Сатурну»: мускулистый длиннородый старикан, бог времени, жадно приступал к поеданию младенца — одного из своих многочисленных сыновей.

— Вот. В детстве я этой статуи очень боялся. Видите, как старый обалдуй закусил животик — чем не эротика с элементами садизма?

— Да уж — вцепился, как в гуманитарную помощь, — сказала Яна. Это сравнение неожиданно его покорило.

Они вышли на набережную Невы.

— А не выпить ли нам вина в честь знакомства, девочки? — Игриво спросил он.

— Любите сообразить на троих? — Иронически окинув его взглядом, спросила Яна.

— Еще бы! — Резковато ответил он и мысленно добавил: «А потом оттрахать обеих собутыльниц, если они такие симпатичные, как вы».

Они купили бутылку вина и выпили ее, сидя на лавке Марсова поля. Обошлись без стакана. Из дальнейшего разговора выяснилось, что приехали подруги без особого дела, просто посмотреть город, и должны были остановиться у дальних родственников Оксаны. Но тех почему-то не оказалось, и у девушек были основательные подозрения, что они в отъезде — ночь пришлось пересидеть на вокзале, а родственники не появились и на другой день.

После следующей бутылки он пригласил новых знакомых остановиться у него.

Они приехали в окраинный район, заполненный столь любимыми в стране геометрическими телами — поставленными на попа и лежащими на боку параллелепипедами.

Сели за стол. Яна, как тут же выяснилось, любила основательно поесть, и он стойко наблюдал скоростижную кончину своих консервных припасов — всех этих килек в томате, завтраков туриста и даже таинственной кукумари с морской капустой, навязанной в незапамятные времена в нагрузку к чему-то более съедобному.

За ужином, естественно, выпили еще, развеселились и уже весь мир сделался для них бесшабашным и нетрезвым. Включили телевизор. Шли новости. Пьяный диктор не мог выговорить слово «бадахшанский».

... Он сидел на диване между ними, по-щенячьи довольный жизнью. Потом они затеяли шутовскую возню, во время которой он, почуяв, что от него чего-то ждут, притянул их головы к себе, и губы всей троицы слились. Он погасил бра. Чья-то рука заскользила по нему — от колена и выше, чьи-то губы прилепились к его шее, и без перехода он услышал шепот Яны:

— Оксанка, ты первая...

Та послушно и стала первой. При этом он все время ощущал сухой горячий язык Яны, проявлявшийся то там, то здесь — и везде неожиданно, даже иногда мешая ему своими проникновениями во всевозможные образующиеся зазоры.

— Только не в меня! — Задышающимся голосом попросила Оксана.

— В меня!.. — Будто эхом отозвалась Яна.

Уже мало что соображая, он, пересилив себя, оторвался от влажного содрогающегося тела, и в ту же секунду почувствовал припавшие к нему губы, которые и не дали пролиться ни капле...

Ночью он проснулся от холода. Оксана спала, завернувшись в одеяло. На кухне горел свет. Яна пила чай. В одной руке у нее был внушительных размеров бутерброд, полностью укомплектованный маслом и сыром, в другой — нож с куском масла на лезвии. Она внимательно оглядела бутерброд, и, поколебавшись, не отправила масло обратно в масленку, а стала намазывать его сверху на сыр.

— Устала я сегодня, — как бы оправдываясь, сказала она.

Днем они ездили в город — без него. Вечером его вопросы примерно повторялись. Отвечала обычно Оксана.

— Где сегодня были?

— Шалялись по городу. Были в Русском музее. А потом попали в Дом актера.

— «Попали»... Чего туда попадать — это теперь проходной двор. И что там?

— Пили кофе. Познакомились с одним писателем.

— Это кто же?

Оксана назвала фамилию.

— А, знаю... Десятка полтора сентиментальных рассказиков. Под пятьдесят, а все корчит из себя беспутного гения. Вечно пьян. Головой он усталый...

— То, что пьян, — его личное дело. — Заметила Яна. — Глаза у него беззащитные, особенно когда без очков. А ты злой...

— Ну-ну.

А ночи складывались, как стеклышки в калейдоскопе: элементы одни и те же, сочетания разные. Но и калейдоскоп долго крутить приедается...

Прошла неделя. Он провожал их на Витебском вокзале. Старик Сатурн дожевывал последние минуты.

Глаза у Оксаны были уже на мокром месте. Яна курила, сосредоточенно уткнувшись взглядом в асфальт перрона.

Он посмотрел на них и вдруг отчетливо понял, что стоит поезду отойти, как придут острые сожаления о каждом часе, не проведенном с ними — на прогулке, в кино, в кафе, в постели...

— Так мы нигде вместе и не побывали, — тусклым голосом выдавил он.

Яна подняла взгляд:

— Не огорчайся. Как говорят у нас хохлы, «нема дилов». У тебя же другие интересы...

— Другие!? — Удивился он, но не нашелся, что ответить.

МЫШОНОК

Летучие мыши прочерчивали вечернее небо, неуклюже перелетая с сосны на сосну.

Курортный городок, расположенный на Немане, жил своей обычной летней жизнью: разгар сезона, приезжие, гуляющие по асфальтовой дорожке вдоль медленной воды, ярко светящиеся початки фонарей на длинных стеблях, желтые окна корпусов санатория, костер и веселые голоса на другом берегу. А над головой — тревожные траектории полетов ночных загадочных существ, и он будто чувствовал, как их ультразвуковые локаторы выхватывают из сумеречного пространства и его, и подобные ему медленно перемещающиеся двуногие объекты.

Накануне днем они с Таней нашли в кустах летучую мышь, вернее, даже мышонка. Глаза его при солнечном свете были прикрыты, но неплотно, он разевал ярко-розовый большой рот, вяло пытался расправить хрупкие перепончатые крылья и всем своим видом какого-то инородного, инопланетного существа вызывал столь сильное омерзение, что хотелось его немедленно уничтожить. И вдруг на один момент все для него внезапно сместилось — и показалось, что это он дрожит в руках двух великанов, глядящих с отвращением и могущих в любую минуту из одной прихоти лишить жизни. И остается только бессильно смотреть на них сквозь щелочки век в этом жутком ослепительном свете: «Где ты, тьма ночная, почему не сумел я спрятаться?!»

Он попал в этот городок в общем-то случайно. Подошел отпуск, он не знал, куда ехать, и кто-то посоветовал ему это место. Жил на частной квартире, а питался в санатории, где при выходе из столовой и познакомился с Таней. Это оказалось непросто, и он несколько дней не мог улучшить

момент, когда она будет одна, а не в постоянном кольце подруг. Все эти дни они переглядывались издали: белокурая девушка смотрела из-под полуприкрытых век, взгляд ее был манящим...

В санатории Таня делила комнату с пожилой соседкой. Как-то раз вечером, когда той не было, они зашли.

В Тане, обычно разбитной и веселой, он сейчас чувствовал некое колебание — она то притягивала его, то, будто спохватившись, отторгала. В конце концов она что-то решила для себя, они оказались в постели, и через некоторое время он с удивлением понял, что стал для нее первым.

Внезапно раздался стук в дверь, возвратилась соседка. Таня убежала в ванную. Зайдя в комнату, соседка понимающе улыбнулась ему, забрала вязаную старушечью кофту и сказала, что придет с прогулки через час.

Выждав минут десять, он тихонько приоткрыл дверь ванной (задвигки не было). Таня сидела в ванне, струя воды била ей в живот, голова была запрокинута. Ничего не видя и не слыша вокруг, она самозабвенно мастурбировала, дополучая то, что он ей не додал.

У нее была нулевая кислотность, и родители с детства посылали ее в различные санатории, чаще прибалтийские. В одном из них Таня попала в компанию лесбиянок. Ей тогда было двенадцать лет.

Теперь, в свои двадцать, она была довольно примечательной фигурой в своем белорусском городке, известном более всего окружающими болотами. О ней ходили будоражащие воображение слухи, многие девушки набивались к ней в подруги («они все ждут от меня чего-то необычного»). Ее постоянная подруга почти каждый день оставалась ночевать у нее. Если отход ко сну задерживался (родители, скажем, что-то смотрели допоздна по телевизору и не спешили уйти в свою комнату), та начинала украдкой в нетерпении легонько поламывать Тане пальцы, тянула ее руку к себе на колено.

Таня верила, что в этих делах ей было что-то дано свыше. А некоторыми моментами она делилась и с ним:

— Видишь, рука при ласке не должна залипать на коже: будто прикосновение есть — и в то же время его нет. Я тренировалась с водой.

— Но либо ты касаешься поверхности, и ладонь смачивается, либо не касаешься, — возражал он.

— Нет, ты не понимаешь, есть нечто среднее...

Он был первым мужчиной, всерьез ее заинтересовавшим, хотя вслед за девицами к ней, естественно, тянулось и множество парней.

Прошло несколько дней. В их отношениях она довольно скоро остыла к тому, по ее мнению, заурядному, что происходит между мужчиной и женщиной, и всему предпочитала тонкое искусство рукоблудия. Он не возражал...

А вслед за тем наступило с ее стороны и полное охлаждение к нему. Таня стала его избегать. Он же, по привычке держась особняком, уязвленно наблюдал издали за ее бойким присутствием в различных компаниях — городишко был совсем маленьким, не столкнуться случайно было невозможно.

Как-то раз вечером, проходя мимо одной из таких тусовок, расположившихся вокруг скамьи у ограды костела, он услышал за спиной взрыв смеха, который не без основания принял на свой счет. Не сдержавшись, он обернулся. Таня дернулась было к нему, но ее окликнули, и она вновь слилась с остальными. Назавтра он уехал.

Через месяц она внезапно объявилась в Ленинграде — на день, проездом в Карелию, где должна была проходить практику в пионерлагере (Таня училась в педучилище).

Они бродили по городу, и Таня рассказала, что у нее появился жених — курсант военного училища, и скоро она выходит замуж. Было еще довольно рано, когда она заторопилась в общежитие, где остановилась. Он поинтересовался причиной такой спешки.

— Меня девочка ждет — мы учимся в одной группе и едем с ней.

— Девочка? — Переспросил он, — ах, девочка...

Она улынулась:

— Да. Будем вместе работать на отряде.

Он все понял:

— А жить, вероятно, в одной комнате. И как она?

— Пока грубовата.

— Ничего, воспитаешь. На то и практика...

Она прищурилась, как от яркого света, посмотрела на него будто впервые и рассмеялась.

НОЧЬ В НИМФЕЕ

Пиво в перекошенном ларьке он попросил подогреть, в чем ему было молчаливо отказано. Выпив кружку холодного, он направился в близлежащее кафе. Оно помещалось рядом с винным отсеком универсама-«шайбы» и было почему-то не безымянным, а обозначалось, как «Наш уют». И действительно: серые стены и пол его были безнадежно замызганы, лампочка еле светила, а за столиками шло бурное алкогольное братание. Он взял сто пятьдесят водки и пошел в люди. Продолжение не замедлило последовать...

Доползши до дому, он рухнул на диван. Но, как ни странно, не тяжелый сон накрыл его душным балахоном, а светлые образы стали наплывать, и увидел он раскопки Нимфея на Боспоре Киммерийском, Керченском проливе.

Был яркий ветренный день. На высоком травянистом откосе стояла она, девочка-нимфа, и с прищуром смотрела на ослепительную воду, поглотившую когда-то гавань древнего города греческих поселенцев. Он кричит ей, машет рукой, зовет спускаться к берегу. И вдруг вспоминает, что через пару лет она и впрямь заделается гречанкой, курносой «гречанкой», жительницей плетового городишки на берегу Коринфского залива, мужней женой...

И хочет он задать ей один-единственный вопрос, но образ зыбится, перетекает в какой-то другой, распадается...

Телефон у изголовья закурлыкал.

— Кто это? Что звонишь в семь утра?

— Э-э, друг, да ты совсем поехал — не утра, а вечера...

Что ж, немудрено спутать. За окном — сверху, снизу, слева, справа, — черное январское пространство, утыканное какими-то недепными матчами с ярчайшими лампами — судорожный вызов всеобщей тьме. А за пустырем, вдали — дома с тусклыми клеточками окон.

Господи, зачем мы здесь?! Как угораздило нас очутиться в этих местах, столь непригодных для единственной нашей жизни? А вот живем — в своем «Нимфее»...

И не было ему сна всю ночь, и бухало сердце, и звенело беспощадным звоном в голове, и пил он теплую алюминиевую воду из чайника, и выворачивало его над ванной до злых спазмов в измученном желеудке...

Но утра он дождался.

1993—1994

ШКОЛЬНИКИ

Не в каждом ранце радость наготове.
Но на ладонях, розовых от снега
Еще живет кузнечик лета... Небо
так вечереет скоро, но на то и
луна, чтобы ее достать снежком.
Затем о чем-то шепчутся в подъезде,
отогреваясь и набив глаза
морскими камушками вызревших созвездий;
не то чтобы нарочно — ненароком
друг другу про такое рассказав —
подслушай кто — им вышло б это боком.

* * *

Листов завяленные рыбы
сплавляются в густые стаи
и бьются об асфальт хвостами,
то багровея, как нарывы,
то ржавчиной дыханье забывая...
На миг в стекло влипают пятерня
кленовая. Посмотрит на меня
и в ужасе отпрянет, забывая
о жажде милой жизни, бормоча
уже несвязанно, и в муравейник смерти.
Костры дымятся затемно. Моча
веселых школьников на пепле знаки чертит.
Шипят уголья. Мальчики молчат.
И звезды застывает белый чад.

* * *

Ушла любовь. Завяли помидоры.
В садах остались воробьи да галки,
бездомные коты, ублюдки сучьи
и некто, обживающий ночами
тряпье и утварь кухонную — бомж.

А мы, как прежде, смотрим за окошко.
Так в зеркалах дряхлеющая дама
украдкой ищет то, что просит память,
да все зима выходит. Небосклон,
как зеркала, правдив и равнодушен.

И если не считать грозы вчерашней,
события все больше никакие:
как дети, как здоровье, как работа?
Да как-то так, все знаете ли — как-то.
(Когда бы не считать грозы вчерашней.)

И если кто-то вечером заплакал:
ушла любовь... так далее... — Спасибо
мы скажем небу. Небо виновато.
Оно, как банный лист, звездой прилипло
к домишкам нашим, скорбным да глухим.

О синие затяжки по утрам!
Как скоро ваша сладость угасает.
Как ваши руки, Молли, похудели.
И жизнь сама — как скверная привычка.
И только тихо. Пусто. И темно.

* * *

Бедно — худо,
и покуда
счастью — битая посуда,
бабам — жалость,
зорям — алость,
а душе — душе усталость.
Ночь — еловая кора,
день — пустые облака,
голубая кожура
да румяные бока.

Как из краника вода,
как сыпучий порошок,
глупой рыбкой из пруда
затхлый тины запахок.
Худо — бедно.
Стойлу — быдло.
Мухам — сахар да повидло.
Пуле — цели,
пыли — щели,
а душе — печальный шелест.

Ночь — звезда из-под крыла
сквозь морозный легкий пар.
День — угрюмая пчела
и убийственный нектар.

Жизнь на веточке сидит,
вниз внимательно глядит.
Вдруг испуганно взметнется —
только веточка качнется...
только веточка качнется...

Наше время — семерка пик.
Новолуние. Посвист. Крик.
Гогот в спину. Пустырь. Молчок.
Обезумевший каблучок.

Пятерня в полпроспекта — ша!
С мясом выдранная душа.
Сталь, настигшая на бегу.
Клюква, давленая в снегу.

Вопли. Сопли. Прямой эфир.
Муть, затасканная до дыр.
Рев кремлевщины вековой
да голодных задворок вой.

В ремесло перешедший страх
да сердце, схваченное впотьмах
за своим дорогим вином —
Ворожкой. Голубикой. Сном.

КОШКА

Две виноградины прозрачных:
на дне песчаном, то круглы,
то наподобье спинок рачьих,
то две сияющих дыры —
зрачков изменчивые ядра —
как заспиртованы внутри,
меняя формы и наряды,
ночной весны поводыри.
Две эбонитовые точки
вдруг расцветают, как салют,
и, приподнявшись на носочки,
искру зеленую дают.
То складываются, как зонтик,
и убывают до нуля,
в коварной дреме только зорче
следя движение, суля
тепло скучающим ладоням
и ту возможность забытья
под стук часов в уснувшем доме,
под снег, плывущий в заоконье,
когда душа сама своя.

СОБАКА

Идет по городу собака,
заходит в разные дома,
такая тощая — с ума
сойти. Всегда, однако,

найдется доблестный храбрец,
и он собаку гонит палкой —
ему ее совсем не жалко —
и прогоняет наконец.

Тогда раскроет крылья пес
и пропадет из виду прежде,
чем белоснежные одежды
наполнит ровный ветер звезд.

..Дотлеет щепочкой разлука...
И только дивные глаза,
а в них не то чтобы слеза,
но сожаление и скука.

* * *

А под стеклянным мостом пироги не иссякнут.
Пекарем — Грека. А греки стоят у ворот.
Птицы поодаль — те знают, как сладостно пахнут
вздутые вены и смешанный с копотью пот.

Белые пустоши. Бледные лица из воска.
На четвереньках, по снегу, в загадочный лес,
где в ожидании Дня развлекается войско
тем, что растит тараканьи усы до небес.

* * *

Ушастик — чайник заводной...
Все спать легли. Ночное лето
как обескровлено луной,
и каждый шорох под запретом.

И так дорога тяготится
случайным грохотом авто,
что ей мечтается скрутиться,
чтоб не нашел ее никто.

Фонарь задумался, как птица
на тонкой каменной ноге,
и, как начинка в пироге,
в вишневой темени зарница.

И все становится съедобным
и осязаемым, и трепет
глубокой жизни бесподобно
себя каким-то боком лепит.

А. О. В.

Ну что же, голуби вечерние,
поговорим о том, о сем,
как мы веселыми харчевнями
льняное зарево несем.

Как мы печалимся и хмуримся,
стараясь ветер передуть,
и как мы ласково рифмуемся
когда-нибудь, когда-нибудь.

И поцелуйчики-платончики,
и соль, и талая вода...
Колеса бьют, бегут вагончики.
И никогда мы... Никогда...

ТРИ ИСТОРИИ

ГОСТИ

Я собрался за границу. Должен был ехать почти перед Новым годом, тридцатого декабря. Накануне, двадцать девятого, зашел в гости к приятельнице. Она принимала меня на кухне. Сидим, ужинаем, болтаем. У плиты возится ее дочь.

Я говорю: «Завтра на недельку уезжаю за границу».

Приятельница шепнула мне на ухо, чтобы ее дочь не слышала: «Предложи моей Оле, чтобы она пожила в твоей квартире, пока ты будешь в отъезде. Она у меня студентка. Ей в нашей четырехкомнатной тесно».

Я про себя подумал: «Гм...», а вслух сказал, негромко: «Сейчас предложу. Жалко, что ли? Конечно, пускай поживет. Вот допью чай и предложу».

Потом совсем громко говорю: «Оля! Кстати, почему бы тебе не пожить у меня в квартире, пока я буду за рубежом? Надо же кому-то цветы поливать, да и присмотришь за моим жилищем».

Оля: «Вот вы всегда предлагаете, когда цветы поливать некому. Ладно уж, поживу».

Я встал: «Ладно. Пойду домой собирать вещи для поездки за границу. Оля! Заходи сегодня вечером попозже за ключами». И ушел домой.

Дома готовлюсь к поездке. Около двадцати трех часов тридцати минут звонок в дверь. Открываю. На пороге стоит Ольга с каким-то долговязым вертлявым юношей. Видимо, аспирантом.

Оля говорит: «Давайте ключи от вашей квартиры. Потому что с завтрашнего дня, пока вы будете за границей, мы будем у вас жить. Ключи давайте скорее. Нам надо спешить, потому что скоро закрывается метро».

Я: «Во-первых, до закрытия метро еще полтора часа, а от моего дома идти десять минут. Вы отлично это знаете. Во-вторых, должен же я вам показать, как открывать-закрывать дверь, как пользоваться газом, сантехникой. Вы заходите, заходите».

Оля: «Ладно. Зайдем. Только все равно нам надо спешить, потому что есть разные другие обстоятельства».

Они зашли в мою квартиру. Разделись. Раздался телефонный звонок. В трубке голос Олиной мамы: «Накорми их. Они голодные».

Я накормил. Все показал. Как и чем пользоваться.

Оля спросила: «Что вы хотите за то, что мы будем пользоваться вашей квартирой, пока вы будете за границей?».

Я попросил ленту для пишущей машинки, потому что много печатаю, и бутылку водки, потому что ничего другого не пришло в голову.

Оля спросила: «Вы хотите больше ленту для пишущей машинки или водку? Конкретнее».

Я сказал: «И то и другое».

Оля: «Ладно, посмотрим».

Они взяли ключи и ушли.

Только закрыл за ними дверь, снова позвонила Олина мама и попросила: «Привези мне из-за границы какой-нибудь подарок. Не очень дешевый». И положила трубку.

Следующим днем я уехал за границу.

Вернулся через неделю. Открываю дверь запасным ключом. Вхожу в коридор. В прихожей стоят две пары обуви, маленькая студенческая и большая аспирантская. На вешалке висят два плаща, женский и мужской. Прохожу на кухню. Открываю холодильник. В нем стоит бутылка водки «Столичная», не стоит полдюжины банок импортной консервированной тушенки, недостает трех четвертей моих запасов сгущенки, полностью отсутствует точно до моего отъезда за границу лежавшее здесь сливочное масло.

Я не стал их будить. Тихо помылся, переоделся, разложил вещи, привезенные из-за границы, отложил колбасу для Олиной мамы и ушел на работу.

Вернулся вечером. В квартире никаких посторонних вещей. На столе в прихожей лежит лента для пишущей машинки, под ней записка: «Спасибо за жилье, которое было предоставлено нам в период вашего пребывания за границей. Приготовьте не очень дешевый подарок для мамы. Когда занести ключи? Оля».

Я набрал номер телефона: «Оля! Спасибо за ленту и водку. Ключи занесите завтра утром».

Оля: «Неохота рано вставать».

Я: «Тогда вечером».

Оля: «Попробую».

Оля пришла в районе двадцати двух часов без долговязого. «Вот вам ваши ключи. Ленту возьмите себе, а водку отдайте обратно. Я заберу ее вместе с маминим подарком».

Я подумал про себя: «Гм...» а вслух сказал: «То есть?»

Оля: «Есть разные обстоятельства. Водку отдайте быстрее, потому что я опаздываю на метро».

Я: «Но ведь только десять часов вечера».

Оля: «А обстоятельства?»

Тут позвонила Олина мама: «Ты не привез из-за границы кофе?»

Я: «Привез растворимый в гранулах».

Олина мама: «Напои, пожалуйста, Олю кофе, а потом проводи до метро. Только успеете, чтобы метро не закрылось».

МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ ВСЕМ ПОМОЖЕТ

Круизный теплоход «Анна Каренина» пришвартовывается к причалу немецкого порта Киль. У трапа подходит ко мне худая женщина, по виду южанка, уже вполне пожилая, но очень быстрая, подвижная.

— Слушай, парень. Английский или немецкий знаешь?

— Болтаю немного.

— Помоги! Сделай уважение. (Она так и сказала: «Сделай уважение».) Со мной тут письмо из Министерства здравоохранения. В местный госпиталь. Операцию обещали оплатить... Диабет у меня. Ножи у меня старые. Хирургических вмешательств перенесла кучу. Электро-стимулятор мне вживить должны в сердце. В России такого не делают.

Ты проводи меня до госпиталя и переведи там, что доктор скажет. А я то на чужеземном ни бельмеса.

Я, вообще-то, собирался в Гамбург, но как член «Международной Амнистии» не посмел отказать старому человеку.

— А я, — говорит старушка, — вернемся из госпиталя, свезу тебя в Гамбург. Тут в Киле приятель мой живет. Ахмед. У него своя фирма и «BMW». Мы от врачей вернемся, я его вызову по телефону. Он мне не откажет. Отвезет нас в Гамбург. Как же! В Германии побывать — и Гамбурга не посмотреть!

Спускаемся по трапу. Проходим в помещение морского вокзала. Любезная служащая из вокзального офиса по телефону вызывает такси. Через пару минут (буквально!) подъехал бежевый «мерседес». Мы сели в машину, и я, по бумажке, выданной мне тяжелобольной, прочитал шоферу адрес госпиталя. Киль — город совсем небольшой. Еще через пять минут были на месте.

Несмотря на крупные дотации, обещанные Министерством здравоохранения, хвóрая бабушка не сделала попытки поискать кошелек. На счетчике было шесть бундесмарок с мелочью. Я рассчитался, и мы вошли в здание госпиталя.

Больница шикарная. Персонал усердно улыбается. Я спросил у первого встречного санитаря, где доктор, на чье имя письмо из Министерства. Санитар, в свою очередь, улыбнулся и показал. Вон туда: вперед по коридору и направо.

Пока шли по коридору, несчастная инструктировала: ты скажи, что у меня диабет (сама стройненькая, как осинка), кучу операций перенесла. Желудок, аорта, ухогорлонос. Я говорю: у вас же документы министерские здравоохранительные. Она настаивает: нет, ты переведи!

Нас принял не один доктор, чье имя в письме указано, а посмотрели сразу трое. По очереди. Доктора говорили. Старушка жаловалась. Я переводил в оба конца. Ассистенты докторов улыбались небесно. Большая перечисляла хвори. Внушительный реестр.

Первый доктор, на чье имя письмо, был более всех любезен. Он жалел старушеницю, которая вот-вот при смерти после перенесенных операций. А тут еще электростимулятор вживлять! Потом ЭКГ. Похвалил мой английский. И отправил к следующему доктору.

Следующий посмотрел ЭКГ. Прищурил глаз. Сказал, что мне надо улучшить английский. Но старуху, в принципе, в госпиталь для вживления электростимулятора положить можно. Но только по поступлении необходимой суммы денег. Но только при наличии платежного поручения, подтверждающего указанную сумму. Письмо, хотя и имеет печать Министерства здравоохранения, не убеждает.

Третий и последний доктор сказал, что, во-первых, с трудом понимает мой английский. А во-вторых, старушка очень напоминает его маму, которая недавно выиграла чемпионат Баварии по горным лыжам среди ветеранов.

Нас выставили в коридор ждать приговора, и южанка поведала мне. Больная она очень. Почти беспомощная. Операций кучу перенесла. Муж у нее в Сухуми прокурор. «Мерседес» у него. Ножки ее не двигаются. А сын капитан дальнего плавания. В свободно конвертируемой валюте заколачивает. И дом у него в одной из республик СНГ. С гаражом, внутри которого «Опель». Ох, сердечко шалит ее старое. Друг у нее в Москве — Лужков Юрий. Ох, не вылетат ее в столицу! Перевести надо на их язык, чтобы в госпитале в Киле оставили.

Тут вышел из кабинета доктор. Который третий. Больную, говорит, жалко. Но платить надобно. В бундесмарках. А вам, молодой человек, ежедневно практиковаться в английском.

Старушка посоветовала мне обратиться в местное Общество милосердия. Чтобы помогли, пока деньги не прислали из России. Прямо в госпитале нашли Общество по телефонной книге. Позвонили. Сей момент явились два очень славных молодых человека с искренним желанием помочь хворой бабушке. Я им переводил. Они вполне понимали мой английский.

Несчастливая, объясняю, старушка. Денег нет совсем. В Москве в Министерстве такой хай поднимет. Из ближнего зарубежья подарки всем выйдет. Мандарины и бананы. А пока на мели. Вчера телевизор «Шарп» купила в корабельном магазине. Коньяк грузинский подарит. А так поиздержалась.

Милосердные ребята отлучились к телефонному аппарату. Стали, видимо, обзванивать банки и госпитали. Вскоре вернулись. Головы вниз. Не дают денег. Они в смятении. Приложили все усилия. Но, увы...

Бабуля произнесла несколько ругательств на языках, которыми не владела. Сволочи. На черта они мне сдались? Да я их всех куплю. Денег им жалко. Визу не проделывают. Вернусь в Москву, дойду до Гельмута Коля через Козырева.

Ладно, вызывай такси. Поехали обратно в порт. Подождем Ахмеда. Я же тебе в Гамбург обещала. Только такси вызови «ауди». Я на вшивом «фолксвагене» не поеду. У Ахмеда фирма своя и денег навалом. Он в Гамбург и свезет. Не обманет.

Ждали Ахмеда два часа. Не приехал. Гад. Ну ничего. Через сухумского прокурора на Ганса Геншера надавим. Подарим французский коньяк армянского разлива. И в Гамбург съездим. Были бы марки.

Слушай, говорит старушенция. Я тут к телевизору приставку видео прикупить хочу. Добавь десять марок...

Я добавил. Все-таки Международная Амнистия. Жалко, что ли?

ВОЕНКОМАТ

Застукали меня вечером. В 23.00 некий молодой человек, стесняясь общественного поручения, вручил повестку.

Утром следующего дня на медкомиссии не было ни одного офицера, ни одного военврача. Крутом врачи плюс молодой нахальный то ли хирург, то ли невропатолог. Между ними четыре худосочных военно-обязанных.

Врачихи пили чай, ходили из кабинета в кабинет с бумагами и без, трепались. Потом стали исполнять свои гуманные обязанности.

Я начал с окулиста.

Развязная женщина в белом халате, не вынимая изо рта какое-то хлебулочное изделие, спрашивала, а между вопросами чавкала:

— Нижнюю видишь? — Чавк.

— Не...

— Выше? — Чавк.

— Не...

— Еще выше? — Чавк.

— Только пять сверху.

- Совсем, что ли, ослеп?
- На три-пять верхних тяну.
- Ну и иди отсюдава.

Она что-то царапнула в справке. Какие-то таинственные буквы и цифирьки.

Зубная врачиха, предупредив, чтобы я не жаловался на челюсть, выставила за дверь.

Молодой то ли хирург, то ли невропатолог указал мне на стул и предложил: «Сядь. Положь ногу горизонтально». — Я положил. «Не так ложишь. А вот этак». Непонятный врач взял молоточек, посмотрел на меня внимательно, размахнулся, вдарил молоточком по колену. Я дернулся. «Здоровый, гад, — констатировал то ли хирург, то ли невропатолог. — Пошел отсюдава».

Я доковылял до последней двери с надписью: «При входе встать по стойке «мирно» и доложить: «Товарищ полковник, военнообязанный такой-то по Вашему приказанию прибыл».

Я толкнул дверь вовнутрь и удивился. Кабинет был почти пуст. За исключением одинокой опрятной старушки в белоснежном халате, горбившейся над какими-то бумагами за обшарпанным столом.

— Бабушка, — спросил я, — а где тут у вас полковник?

— Молчать! — гаркнула бабушка нестарушечьим голосом. — Как стоишь, прохвост?!

— Я...

— Не рассуждать! Кто таков?

— Такой-то.

— А, это ты, — смилостивилась слегка бабуся, повторив мою фамилию.

— Откуда вы меня знаете?

— Так я тебя шестнадцать лет назад в армию отправляла.

— Ну и память у вас, бабушка!

— Я тебя, сукиного сына, насквозь помню. Что-то ты меньше заикаться стал!

— Да я...

— Молчать! Снимаю с тебя нестроевую статью. (Я служил в стройбате.) Будешь строевой.

— Д... д... д... — опоздало заикался вызванный.

— Ладно уж, — снова смягчилась милитаризованная старушка. — Не «дыкай». Кроме Военно-морского флота. Усек? Годен всюду. Кроме ВМФ.

Теперь в запасе Вооруженных Сил будет одним (настоящим) защитником Отечества больше.

НОЧИ

* * *

Счастье, только счастье — непереносимо.
У ночных касаний свой язык...
Гибкое — как ива влажная, осина —
Тело. — Это Бог к тебе приник.
И теперь, пространство трогая губами
И чужим дыханием дыша,
Чувствуешь: оно, невысказанное, с нами —
Так дрожит под пальцами душа!
От бедра все выше — в ямку под ключицей
Западая, втягиваясь — весь,
До конца ты можешь слиться, раствориться...
Не сейчас мы были и не здесь.
Оттого так ныло тело, тосковало,
Потеряв подругу легкую свою.
Но теперь — теперь всего на свете мало —
Вот, возьми — себя тебе даю!
Волосы щекочут щеку, лезут в ухо...
Пульс во тьме нащупывает ночь.
Счастье — испытанье мужества и духа —
Ни понять его, ни превозмочь.

* * *

Как плазму миллионоградусную
Удерживают силовою
Ловушкой поля? — Эту радостную
Ночь, распростершею совою
Над нами крылья ли, объятия —
Не удержать мне лишь в пределе
Губ, плеч и щек — гомеопатия,
Заботящаяся о теле —
Не об огне, чьим полыханием
Чужая плоть с моею слита,
Расплавлена одним дыханием,
Одной тоскою перевита,
Одним насквозь прикосновением
Прошита — бабочка, Лолита...
И вот держу с недоумением
Тебя, к себе прижав так близко,
Что и повышенным давлением
Глазного вспухшего мениска,
И сердцем, такты учащающим,
И мышц томленьем, напряженьем —
Всем становлюсь, туда ныряющим
Бесстрашно вслед за отраженьем
В зрачках моих — живой, разбуженной

Внезапно, юной, потрясенной
Твоей души. Кому тут нужен мой
Признанья шепот припасенный!?
Теперь за плазмой подмороженной,
Прорвавшей все заслоны, сети!..
Дрожь утренняя, ужас вложенный
Внутрь, и одежда на паркете.

* * *

Три дня еще живу, а на четвертый, пятый
Ждать начинаю, и к седьмому умирать.
За что так любим мы, ни в чем не виноваты...
За что!? Бери всего меня — и трать!
В морозных каплях волосы и брови —
Затем, что в мае ночью падал снег.
До замиранья, до свертыванья крови
Хочу прикосновенья этих век
К моим губам, — давление глазное
Чтоб измерять дыханием своим,
Когда слова, расплавленные в зное
Тел наших, шепчут в ухо, что любим.
И вот теперь ни просеки, ни гати,
Пружинящей под тяжестью шагов —
Парим над пропастью в сплетении объятий
До звезд предутренних, до дальних берегов.

* * *

Это чувство, хлынувшее, что сбивает строку,
Эта втиснутая в сердце полнота!
Счастье, ты зачем бесцеремонно так, жестоко? —
В жар касаний вечность отлита.
И теперь что делать с нею — нам с тобой, раздетым,
Маленьким, на смятой простыне?
Ночь, священнодействуя, накладывает вето
На сомненья в следующем дне.
То что с нами — больше нас самих. Хочу в пределе
Истомить собой тебя, томясь,
Чтобы ничего не оставалось в гулком теле,
Не наращивающего связь.
В каждую испуганную впадину и лунку
Кожи, западая сердцем всем, —
Так лежать нам вывеченным, вытянутым в струнку,
Канувшим друг в друга насовсем!

* * *

О как легко ложилось тело
Чужое — нежно — на мое,
И поцелуями горело
Ожившее небытие
Ночного мрака! Под лопаткой,
Казалось, опухолью крыл
Вот-вот покров прорвется гладкий.
Собою ли — тобою был?

И словно поле силовое
Перетекающая страсть
Создала. — Чудо: легче вдвое
Вдвоем мы, пробуя совпасть
С неотвратимым бегом, током
Туда... Мне страшно... Ну же, плеч
Не отпускай!
С блаженством, с роком,
С безумием, со смертью лечь...

* * *

Меня собою реабилитируя
И как бы тело делая осмысленным,
Скользишь ладонью-лодочкой. Что миру я,
Всем его тварям дышащим, бесчисленным,
Поведаю теперь про сокровенное,
Гностическое знание кожи любящей?
Остановись, касание мгновенное
Тьмы приникающей, тоски голубящей!
Признанья лопнувшего наслаждения,
Шепча друг другу в мраке громче, тише ли,
Дано сейчас нам быть в пространстве, где ни я
Ни ты — по одиночке бы не выжили.
Дар благодати, дар многоязычия,
Проникновенья мудрости апостольской:
Ты понимаешь всхлипыванье птичье?
Ты чувствуешь наложенные плоскости?!

* * *

Так легки были, что раскладушка,
Прогибаясь, легко нас держала,
Одеяло, как длинная стружка
С обнажаемой плоти сползало.
Где тот мастер, которому любви
Наши, одушевленные пылом,
Плечи, руки, дрожащие губы —
Чтоб небесным показывать Силам?
Вот сейчас к нам перстом своим жарким
Прикоснется, дыханье сбивая.
Ты, как жизнь, — самым главным подарком
Станешь. Словно у мрачного рва я
Был. А нынче в проснувшемся теле
Клетка каждая гулко и резко
Бьется... Ну же, давай, полетели,
Распластавшись, как яркая фреска!
Здесь, где все языки равноправны,
И понятно признание любого,
Мысли, пальцы проворные — фавны —
Только сеть для чудесного лова.
Обещал же Господь небеса им,
Верьте Мне — говорил — не умрете!
Мы сейчас, мы уже воскресаем
В стоне духом пронизанной плоти.

Май 1995

Висбаден

В Петербурге как-то не умеют и не имеют времени грустить. Хлопочешь и суетишься с камнем на груди. Под Баден-Баденскими сенями, или на берегах Неккера было досужнее и свободнее...

П. А. Вяземский. Старая записная книжка

ГОЛУБАЯ ПОВЕСТЬ

*Посвящается моим дочерям, Саше и Жене,
и моей близкой подруге Тане Белоновской*

Глава 1

По улицам ходят люди. Мужчины и женщины. Гладкие и блестящие, точно пластмассовые куклы. Твердые, без выступов и впадин, плавные, овальные. Плоские ступни их стучат по асфальтовым неровностям, скользят в осенней грязи, и ничего им не делается. Голые тела цвета флер-д'оранж мелькают между деревьями, их можно разглядеть в окнах домов и за стеклами машин. Их тысячи, миллионы. Холодные, бессмысленные. На поясе у каждого болтается кошелек с секретиком. По секретикам они и отличаются друг от друга. У кого — пышная мягкая виноградная гроздь, у кого — маленькое твердое яблочко — в кошелечке. Все это тайное, запретное. Запретный плод сладок. Сладкий плод запрещен.

Кошелечки плотненькие, кожаные, ничего не видно, ничего не известно. А сами люди — голые пустые куклы с бессмысленными глазами-плошками, с синтетическими кудряшками. Все что-то лопочут, шамкают, над городом стоит гул голосов. Прислушаешься — каждый в отдельности зовет маму — по-своему. Вот и выходит — шумная неразберха, бардак. Бардак? — Тоже своего рода секрет, тайна. Тоже своего рода табу. Посмотри на них. Все разные. Все — свои собственные. Но это — когда привыкнешь, когда станешь одним из них. А так — все одинаковые. Как однойцевые близнецы. И дети, и старушки, и студенты, и продавщицы — однойцевые. Как на подбор. А с небес на эту толпу смотрит Дядька Черномор, с которого они все сделаны — самый первый, самый главный, самый большой близнец. И глаза у него — самые огромные (чтобы лучше всех нас всех видеть), а уши у него самые необъятные (чтобы лучше всех слышать), а зубы у него — страшно даже сказать какие. Чтобы лучше пережевывать всю нашу фигню, весь бардак и хаос нашей земной жизни. Пережевать, из темечка выпустить вверх (куда?) струйку отходов, а то, что осталось — проглотить в свое голодное лоно, ибо то, что осталось — и есть подлинная пища Богов. Так думал молодой повеса, в салазки жучку посадив. К черту цитаты! Буду собой, и писать буду свое собственное. А не одноразовую историю о том, как миллиард человек регулярно пробавляется дерьмом. Тоже мне, высшая духовность!

Глава 2

Петр брел на работу. В толпе бредущих на работы людей он казался себе единственным живым и теплым человеком. Остальные — незнакомцы с одинаковыми недовольными лицами — были манекенами, увешанные кошелечками с секретиками. Они ничего не думали, ничего не делали, лишь переступали ногами — топ, топ. И конечно, они не могли знать, как кричали их кошелечки, как бросались в глаза, как звенели в

таинственных недрах секретности, и как мучился живой теплый Петр, как старался не слышать эту оголтелую музыку похоти, движущей миром. Похоти. Внутри Петра, по его убеждению, находилось нечто большее, уверенно называвшееся любовью. Почти год уже Петр не жил, а существовал, и теперь он окончательно пришел к тому, что надо освободиться от этого однообразия во всем. Работу, что ли, сменить, или, может быть, настроение. Ровное спокойствие по отношению ко всему, которое Петр сам в себе сконструировал и отрегулировал, которым он так гордился и которым со всеми пытался делиться, начинало надоедать. Хотелось чувств. Да и то, что казалось Петру любовью, то, что жило очень глубоко, в почти бессознательной области его души, тоже было чем-то иным. Оно, скорее, походило на какой-то вариант духовного эгоизма с легким оттенком наплевательства. Иногда, правда, это нечто заставляло Петра волноваться и радоваться себе самому. Но довольно быстро столь сильные эмоции покидали Петра, и он вновь становился спокойным и твердым, привычным ко всему и к собственному характеру. Безусловно, надо было что-то менять. Но где взять события, способные взорвать тишь скучного болота, и где взять силы, чтобы пережить этот взрыв, переродиться, напитаться жизнью и радостью. И другим, совершенно другим продолжать свой путь? Самая мысль о том, что придется кого-то нового вводить в свою жизнь, кого-то незнакомого и чужого использовать для достижения столь прекрасной цели — волновала и вдохновляла Петра. И все же найти человека было достаточно сложно. Да и кто в наш век способен пасть своим здоровым телом на амбразуру одиночества?.. В контору Петр приходил всегда первым. В этом не было ни фанатизма, ни услужливости. Просто он просыпался очень рано, читал еще с полчаса, лежа на примятых и от этого жестких подушках, было иррационально: в голову лезли утренние мысли, напоминавшие развернутые планы сочинений, и порой одно и то же предложение приходилось прочитывать несколько раз, дабы, наконец, разглядеть в бездне механистичности маленькую мутную капелючку смысла. Поэтому Петр вставал сразу же, как его еще сонные глаза начинали различать над собой безмерную белизну гладкого потолка, а тело мучительно осознавало себя переполненным мочой. После одевания, умывания и поглощения яичницы путь назад, в кровать, был отрезан, и Петр отправлялся на работу, дабы точно так же, как и вчера, и месяц назад, открыть ключом тяжелую дубовую дверь дизайнерского агентства «Ангелина» и войти внутрь, окончательно и бесповоротно, отделив себя от улицы, деревьев, магазинов и людей, представлявших теперь, в пустом тоскливом помещении, огромным разноцветным комком пластилина, слепленным заскучавшим и наигравшимся с «шариками» и «колбасками» ребенком. Когда-то в детстве Петр любил лепить из пластилина. Он часами придумывал длинные истории из жизни принцесс, а все персонажи этих историй создавались его маленькими пальчиками. Принцессы были все одинаковые, с оранжевыми лицами, тускло желтыми волосами, в грязно-синих платьях. И звали их всех странными именами — Эвридиками и Ариаднами. Однажды мимо проходила мама и услышала, как ее сын играет в принцесс. Тогда она накопила денег и к Новому году купила Петру огромную куклу в длинной коробке, похожей на гроб, крышка которого была разрисована блеклыми красно-зелеными фейерверками и звездами. Это был незабываемый Новый год. Петр был так обижен, что даже не вышел к гостям, пришедшим на праздник. И навсегда перестал играть в пластилиновых принцесс, и забыл все странные имена, и знал только, что сам он — тверд и силен. Точно камень. Но, несмотря ни на что, этот камень был живым существом. Он дышал, действовал, чувствовал. А что было с ними, со всеми

этими мягкими и мертвыми созданиями, окружавшими его? Они были бездушны, как куски пластика, их было не так уж много, но они хотели размножаться, хотели, и размножались. Размножались и множились. Увы. Словно тени бледных принцесс детства, они шевелились, но были бессмысленными муляжами, скучными, неинтересными. Их становилось все больше и больше, и все меньше оставалось места в мире для самого Петра. Но в этом-то и была прелесть, чтобы вынести все, пережить — в одиночестве, и — найти того человека, о котором можно лишь мечтать как о единственном сокровенном. Найти, вычленив его из липкой никчемной массы, встряхнуть, очистить от повседневной мишуры, отмыть от догм и запретов и — завоевать. Доказать ему, что он — для Петра, а Петр — для него. Здесь, сейчас, и поэтому везде и навечно, ибо такое пересечение времени с пространством бывает лишь однажды и остается в толпе других, ничего не значащих букв и цифр, непоколебимой константой. Подобное восторженное предвкушение поиска и завоевания вот уже несколько дней владело Петром. Он жил словно бы на износ, целиком отдаваясь во власть пленительного и волшебного трепетания. Сегодня был особенный день. Он это ощущал с самого утра. И это было правдой.

Старорежимная фрауга не поддавалась, и Петру пришлось взять засаленную швабру, дабы справиться с упрямым устройством. Наконец раздался скрежет, и стало легче дышать. Табачный чад как будто слегка разбавился дождевой пылью, ворвавшейся серебристым дымком в небольшую щелку между окном и карнизом. Бледнозеленые льняные занавески взволнованно забились в потоке октябрьской свежести и вновь устало повисли, впитывая в себя размокший запах курева. Люди в комнате перестали медленно и сонно передвигаться, они остановились, вздохнули, набрали полную грудь воздуха и снова зашевелились — уже более весело и уверенно. До конца рабочего дня оставалось полчаса. Странная личность — угловатая, черные волосы, бледно-розовая кожа — как с картины Фалька, — сидела и быстро что-то набрасывала в своем потрепанном блокноте, напоминая, скорее, некую замусоленную книгу жалоб и предложений из привокзального рестораника, нежели дизайнерскую рабочую тетрадь. Рука маленькая и тонкая, точно у женщины, пальцы бегло скользят по бумаге, поблескивают кольца. Одно, два. Четыре кольца на правой руке. Все очень простые, без всяких оправ и завитушек. Словно четыре ровные разноцветные полоски. Яшмовое, из небольших квадратиков-лоскутков — самое легкомысленное, цветное. Но и значительное — одновременно. Оно повелевало всем остальным не выдаваться, не блеснуть. Оно было единственным в своем роде, в своей силе. Петр, застыв, смотрел на него. Какая прелесть! Это — ведь — яшма? Прелесть Горлум, Горлум. А можно посмотреть поближе? Черно-розовое пятно дрогнуло, поплыло вбок куда-то, обогнув уродливо-массивную фигуру кресла на куриной ножке, надвинулось на Петра, ворвалось в его смутную однообразную жизнь, обдало его запахом апельсинового цвета: горьковатым, терпким, древним. На ладони, там, где линия жизни и линия сердца встречаются, образуя треугольник счастья, лежит прохладное и тяжелое. Земкнутый круг. Шевелится, точно змея. Разомкнутый круг. Завитушка. Я шестерка, простая шестерка. Получаю достаточно, чтобы жить. Чтобы есть. Ненавижу. Их всех ненавижу. Вы женаты? Вот и метро. А кольцо ваше действительно прелесть. Позвоню вам обязательно.

Глава 3

Осенью в Москве особенно пахнет прелыми листьями и тяжелым перегаром. Ларьки мерцают разноцветно и новогодне, за толпами красивых бутылок с мутными жидкостями прячутся хитрые продавцы. Полки

заставлены глянцевыми шоколадками, слоудяным печеньем. Витает запах курева и миндаля, прямоугольные жевачки лежат шведскими семейками в твердых коробочках. Жизнь хрустит и тянется. Вот вздулся пахучий розовый комок неожиданных соблгтий, увеличился, стал огромным и уродливым, точно глазное яблоко, выпавшее на пуловинке из тусклобагровой глазницы. Сейчас лопнет, залет своей бесцветной липкой кровью, склеит навечно всех нас, не имеющих друг к другу никакого отношения, завяжет узлы, разорвет узлы, сомкнет уста. Улитка ночи прячется в темное логово, оставляя после себя влажную дорожку на осенних улицах. Все в молоке: деревья, дома. Молочные лужи вздрагивают от проснувшегося так рано ветра, окна отражают рваную пенку небес. Воздух приторно сладок, хочется спать. И больше ничего. Воск все сильнее плавился в этой белой дымке, становился прозрачным, капал, капал. Куда-то вниз, прямо в глубоко голубое пространство падали медовые капли, превращаясь уже над самой водой в светлых сливочных чаек, и те парили над сметанными барашками морских волн. Перья медленно покидали свое чудесное пристанище, они летели вялыми грязно-белыми комками и исчезали в бездне. Тело потеряло восторженную легкость, и теперь медленно приближалось к своей смерти. Икар вздрогнул от того, что его ступни больно ударились о поверхность воды, и очутился в своей комнате. Щека вминалась в сладостную подушку. Спасительную подушку. Мозги впитывали в себя окно, кровать, лежащего на ней человека. Удивительно, что только он чуть было не разбился, а оказывается, что сегодня суббота, двадцатое октября, никуда идти не надо, все тревоги будних дней отступают перед грузными и непоколебимыми выходными. Да и сам институт выходных настолько свят и честен, что вся природа пасует перед его основательностью и выдавливает из мрачного неба лимонный сок бледного осеннего солнца. Завтра Милена приезжает от своих родителей, завтра поздно по телеку будет что-то там такое (карандашиком в программе — траурная рамка, а в ней: двадцать три, точка, десять). А сегодня Петр приходит ко мне в гости. Петр. Петр. Сладко перекачивать четыре звука от альвеол к гортани. Скользко, громко, точно на роликах едешь по пустынному переулку. Жара, но вот ты проваливаешься в тень арки — проходной двор, и снова свет — приглушенный, прохладный, качели, подъезд. Петр, Петр. Странное имя. Петя — совершенно не то. Петух? Гадость какая. Петя, петя, наши в сити убежали навсегда. Петр. Икаром овладела дремотная томность. Скорее бы вечер, вечер, вечер, лечо, плечи, вечность...

Непричесанный хлам, слоистые нагромождения книг. Пепельница в виде керамического кленового листа — прямо на полу, рядом с кроватью. Два измученных окурка. Стены увешаны картинами. Одна — даже не картина, а просто набросок. Углем на плотной белой бумаге. Спит женщина, щека примята подушкой, расслабленные губы устало сползли набок, почти касаются наволочки в мелкий цветочек. Глаза закрыты, и тени от ресниц — длинные и трогательные. Выражение лица спящего ребенка. Под всем этим подпись: Милена. Какое у нее нежное лицо. А фотографии у вас есть? Я хотел бы посмотреть. Милена. Рыжая женщина. Лотрековская любовь. Милена, сидящая на поле, среди одуванчиков. Милена за кухонным столом. Ням, ням, тефтельки вкусные. Милена и кот Лаврентий. Милена с зонтом. Взгляд ненормальный. Милена и Икар. Милена и Икар. Милена и Икар. Много Милен. Много Икаров. Веселье, любовь, чмок — поцелуечики. Голубки, попугайчики, киски. Мяу. Петр разглядывал ее. Петр ее запоминал. Теперь покурим. Милена, когда курит, держит вот так три пальца, и локоть у нее немного оттопырен. Жеманница. Ну-ка, попробуем. И ухмыляется она, судя по всему, как-то так. Рискнем. Хорошо. Икар видел. Слава Богу, кажется, ничего не понял. Я буду таким. Я буду нравиться тебе. Только не уходи, не исчезай, не бросай меня. Взгляни, я так мила, я прелестна. Пока, пока. Мой черный платок пахнет медом. Мои глаза сияют. Я — золото. Золото, которое никто не хочет взять. Золото. Я стану твоим, и ты не пожалеешь. Ты

золотоискатель, но твоя Милена — лишь серебро. Светлое, чистое. Но — серебро. А я — золото. Я тяжесть, я сладость, я мед, я желтый клей вечности, я страсть. Возьми меня. Думай обо мне, как о серебре. Пусть так. Пока так. Золото это умеет. Золото тоже бывает белым. А когда я стану твоим, я нальюсь наконец своей сильной, смертельной желтизной и останусь с тобою навек. Навек.

Глава 4

Петр ненавидел метро. Толпы усталых потных людей его удручали. Но более всего ненавидел он соприкосновения с чужими локтями и животами и исход из поезда приклеившимся к другим безвольным куском. Тусклое освещение чудовищно искажает лица — и без того серые, с запавшими глазами, всклокоченные волосы путаются в порывах горячего ветра, и лишь старушки в красных фетровых шарообразных шапочках выглядят ярко и весело. Они сомнамбулически покачиваются в стеклянных будках-пробирках, словно смешные розовые эмбрионы из романа Хаксли. Но и их матрешечные круглые мордочки искажает выражение замученности и злобы. Картину дополняет набор пыточных инструментов: поручни, эскалаторы, мрачные, громоздкие скульптуры, выпадающие на людей из-за колонн и провожающие поезд тяжелыми взглядами хищников, от которых ускользнула добыча. Петр ненавидел метро. Но каждый день ему приходилось спускаться в эту пародию на царство Аида дважды: чтобы попасть на работу и чтобы вернуться домой. Теперь надо было спешить: в восемь ему позвонит Икар. Когда Петр закрывал глаза и пытался себе представить лицо Икара, у него нечего не выходило. Возникали черные волосы, розовая кожа, отдельно — серые глаза. И когда наконец все эти черты пытались зацепиться друг за друга, дабы получился законченный портрет, все вдруг начинало плыть, шевелиться, черное мешалось с розовым, серым и белым, и эта мозаика, состоящая из пятен, постоянно изменялась, рождая причудливые образы каких-то красавиц и карликов, и — все распалось. Однако эта игра очень нравилась Петру, он любил ее потому, что она волновала его, а созидание новых странных видений будило в нем острые, ни на что не похожие чувства. Да и непременно повторение при этом имени Икара развлекало и восторгало Петра. Икар. Икар. Икар — раки. Икар раки не ел. Леен. Заклеен? Оклеен? Расклеен? На лей. Не жалей. Не болей. Веселей. Приятно придумывать палиндромы. Ътавымудирп онтияирп ыморднилап. Простые, наскучившие слова приобретают неожиданную окраску. Порождается нечто вроде новой словарной жизни. Логорейнкарнация. Рейнкарнациология. Чуть собачья. Все вечера заняты разговорами с самой собой. Интересно. Нескучно. Умно, отважно, весело. И зачем вообще надо кого-то любить? Зачем кого-то ждать, кому-то верить, с кем-то общаться? Лучше и надежней самого себя не найдешь. Никогда и нигде. И в этом вся сила одиноких людей. Нечеловеческая, божественная. Только я. Заботиться только о себе. Сам для себя преданный друг. Родился один, и жил один, и умрешь один. И там, в объятиях ангелов, над розовыми ренессансными облаками — один. Высоко, над всеми, всеми, кто не один, кто вместе. В осознании собственного одиночества и есть блаженство, и есть вдохновение. И есть гениальность.

Тишина. Телефон молчит, молчит безнадежно. Попробовать самому? Короткие гудки, как строчка швейной машинки. Желтые дефисы на джинсовой ткани. Мама, мама. Мне так хочется плакать, уткнувшись в твои колени. Красная ситцевая юбка — почти до пола. Я дома, я снова дома. Сегодня ты сшила мне шортики для детского сада, но я не пойду туда, я останусь с тобой, я буду вдыхать запах сладких сырников, исходящий от твоих мягких ладоней, я буду тянуть за яркий подол. Яркий, как царापина

на моем запястьи — помнишь, я сидел на полу террасы, и, вставая, распорол руку гвоздем, торчавшим из плинтуса? Я не плакал, я был рыцарем, Иван-царевичем. Я плакал позже, беззвучно, позже, когда ты умерла. Мама, я так несчастен, я хочу быть рядом с тобой. Напитай меня своей силой, обогрей своей любовью, помоги узнать себя самого, кто я. Во мне все клокочет, когда ты прилетаешь сюда. Я лежу на кровати, прямо поверх покрывала, не сняв ботинки. Глаза закрыты, и я медленно начинаю раскручиваться. Быстрее, быстрее, стоп. Чтобы не лопнула тончайшая связь с тобой. Теперь — в обратную сторону. Из груди моей тянется что-то вверх, не то пуповина, не то аорта. Витая, как колонна Дома Дружбы Народов. Я связан с тобой, я сын твой, приди ко мне, я одинок, я мертв. Почти.

Глава 5

Сладостное волнение то поднималось в груди и прижималось к горлу холодным шаром, то опускалось, оседало, и тогда было спокойно и светло. И свободно. Двое бродили по сумрачным улицам. Пар шел из их неназванных ртов, ветер подхватывал его, уносил ввысь, добавляя еще один завиток в сложные узоры ветвей и облаков. Мутные дворы, чужие подъезды, запах свежих газет, голубцов и мороза. Октябрь, ноябрь, декабрь. Милена все время что-то бормочет, говорит сама с собой. Вчера мне вдруг сказала, что ревнует меня к тебе. Правда, ерунда? Петр молча сжимает маленькую бледную замерзшую ручку Икара. Окна без стекол чернеют на фоне светлосерой побелки с коричневыми пигментными пятнами, деревья корявы и изогнуты. Скрючились от желания разглядеть собственное отражение в единственной блестящей поверхности — ручке двери. В подъезде сухо и холодно. Пол устлан тенями осенних листьев и следов некогда проходивших здесь людей. Испить, испить до конца. Испить до конца, ни о чем не думая, не возвращаясь в мыслях в тепло семейной жизни, не помня о горячем чае с пряниками на кухне, о раковине, забытой посудой, о прокуренных занавесках. О пепельнице, полной праха зимнего утра. О газовой плите двадцатилетней давности. О маленьком черно-белом телевизоре. О коридоре, о комнате, о кровати. О простынях, об одеяле. О духах Милены. О ее волосах. Не думать, не думать. Не думать ни о чем. Вытянутся вверх, к зрячему алому солнцу, раскинуть пепельные сухие ветви, выдавить из себя несколько продолговатых почек. Еще, еще. Всосать в себя розовую кровь земли, наполнить древесную сердцевину воздухом и взорваться пышными белыми цветами, похожими на кружево, на пену, на счастье. Над апельсиновыми садами, над глиняными домиками, над песком берегов — взлетел, выше, еще выше. Внизу — мозаика, пасьянс, все решено, все разрешено. Сверху — синяя эмаль, сочная, твердая, на ней — солнце. Горячее, сладостное. Тело послушное, под плечами, под грудью, под сильным крепким животом — море, сияющее, соленое, вожделенное. Теплые капли стекают между пальцами. Вчера араб на базаре продавал желтую халву, скатанную в толстые колбаски. Икар помнил ощущение приторно-пряного липкого шарика под языком. Теперь он терял свои перья, они тяжело падали вниз, в ослепительные волны. Гармония была разрушена, тело стало камень, и холодное море принимало его в себя, обволакивая, пропитывая солью и смертью, удушая терпким горьковатым запахом апельсинового цвета. Еще живое бедро больно ударилось о круглый подводный камень. То была голова Петра. Морозный воздух вытеснил влагу из ноздрей, изо рта, Икар шевельнулся и застонал. И Петр вторил ему...

Когда они вышли на улицу, с неба летели белые лепестки снега. Оба закутались в черные одинаковые платки, спрятались в шерстяную ночь. Так они и расстались, у входа в метро, слепые, одинокие в своих плотных одеждах, разобщенные, без мыслей, без слов.

Глава 6

Одиночество пахнет корицей, гвоздикой и ромашкой. Одиночество — липкая пыльца. Острая, пряная желтая пыльца. Одиночество бесконечно. Одиночество изначально. Оно было в истоке, в отправной точке бытия. Оно было Бог. Из одиночества рождалось все, все жило и развивалось в одиночестве, все возвращалось в него, умирая. И после смерти — одиночество. Безбрежное одиночество. Точно поле, вскипевшее цветами — мелкими, яркими, ароматными. Поле. По полю бредет девушка. Ноги медленно переставляет, с усилием, каждый шаг рвет сотни стебельков, с каждым мигом все длиннее и длиннее становится протоптанный ею пробор среди светлозеленых прядей травы. Девушка бредет, куда — неизвестно. Нет начала этому движению и нет конца. Никто не видит ее, никто не знает о ней, да и она никого не видит и ни о ком не думает. Она одна, и в этом ее слабость, и в этом ее сила. Да и слабости, и силы как таковых нет. Нет ничего, никаких антонимических пар, никаких единства и борьбы противоположностей, ничего. И на небе нет солнца, потому что нет луны, и ни день, и ни ночь, и ни лето, и ни зима — вокруг. Лишь мириады цветов — разных, веселых, бессмысленных цветов. Приглядишься. Не такие уж они веселые. Они не веселые, потому что непонятно, что есть печаль. Они никакие. И девушка никакая. А может, это вовсе не девушка. Ибо нет юности, составляющей с ней пару. Нет никого. Среди густо разросшегося ничто бродит ничто. Бесконечно, необъяснимо. Это и есть одиночество.

Милена отошла от окна и вдохнула запах подгорающего яблочного пирога. Распахнула духовку, выхватила сковородку, набитую чем-то пыльным и темным. Видимо, Петр не придет. Но куда делся Икар? Почему не звонит? Они ведь должны были вместе приехать с работы. Милена набрала номер агентства. Занято. Занято. Господи. И кто этот Петр вообще такой. Почему она даже не может себе его представить? Закрой глаза. Петр. Петр. Петя. Да, имя у него так себе. Петя. Черная цигейковая шубка, шарф, прижимающий круглый воротничок к румяному личику. Носик маленькой красной клубничкой. Цигейковая же шапочка. Обычный зимний ребенок. Петя, Петя. Санки с отшелушивающейся зеленой краской. Обледенелая веревка. Милена напрягла воображение, но больше ничего представить не смогла. Если бы она знала этого Петра, может быть, не так бы беспокоилась. Нет, тут было что-то еще. Ревность? Неужели ревность?

Ужели, ужели, Здесь темные ели, Здесь ночь. Навсегда, навсегда, Закутавшись в плед на холодной постели, Я вновь прилетела сюда.

Какие-то темные ели. Милена растерянно оглядела кухню. На стуле, под окном, среди коричневых катушков потертой обивки — желтый томик Гамсуна. Милена вздохнула. Длинная тяжелая светлая коса шевельнулась на плече. Дагни. Все-таки какое красивое имя — Дагни. Дагни Хьеллан. Фрекен. Дружественный вам книгсен. Ву а ля. Мерси. В Париже? В Париже снова носят кринолины. Слыхали? А что это за молодой человек там прячется среди колонн? Где? Видите, вон он сейчас выглядывает? Дагни, да он, кажется, на вас смотрит. Дагни. Куда же вы! Милая! Давай выбежим в сад, там благоухают чайные розы, там незабудки растут, как трава, как сорняки. Там астры растопырили свои узкие лепестки, а бархатистые георгины чахнут под тяжестью вечерних слез, там широкие листья тюльпанов устилают мягкие клумбы, там звенят на ветру колокольчики... Не отчаивайся. Помнишь, когда ты была девочкой, мама проводила рукой — нежной, словно цветки нарциссов, — по твоему разгоряченному лобику, и усталость, и болезнь — проходили, капали прозрачными каплями со скул, стекали по подбородку, повисали на кончике носа. Помнишь? Плачь, моя девочка, плачь. Ибо плакать тебе придется еще очень много, надо научиться это делать красиво, с достоинством. Плачь. А теперь повернись и уткнись

мокрым лицом в холодное стекло. И смотри на улицу. Долго, не моргая. Так. А теперь моргни. Слеза, которая, было, зацепилась за ресницы, соскочила на щеку и устремилась вниз. Очень хорошо. И следи, чтобы занавеска лежала красиво у тебя на спине, а не просто как тряпка. Нет, не оборачивайся. Смотри на улицу. Смотри так, словно по ней уже никто никогда не пройдет.

Глава 7

Икар стоял, опустив глаза, и упрямо повторял: — я поеду домой. Я поеду домой. — Ну почему? Я чем-то обидел тебя? — Петр не мог поверить: неужели именно сейчас, после того, что было между ними, их отношения оборвутся — так бесславно, так для него унижительно. — Ты меня не любишь? — Нет. Я понял, что люблю только одного человека на всем свете. — Ее? — Да. — Значит, все это было обманом? И ты жалеешь о том, что произошло? — Нет. Я не врал тебе никогда. Все, что я говорил, было правдой. Но я, кажется, жалею. Я не хотел этого. — Петр в отчаянии вглядывался в грустное лицо Икара. Где? Где выражение счастья? Где его радостный взгляд, где улыбка? Все это раньше предназначалось ему, Петру, и теперь — теперь это оказалось прошлым, настолько эфемерным, что неизвестно, было ли это вообще. Теперь они расстанутся. Навсегда. Больше Петр не увидит это красивое лицо, похожее на ожившую картину Фалька. Никогда ему уже не соединить в единое целое все те розовые, белые, черные, серые пятна, никогда уже не склеить осколки воспоминаний, не воссоздать осязаемый образ Икара, любимого человека. Разве что потом, в толпе или в какой-нибудь компании на каком-нибудь вечере мелькнет нечто знакомое, прядь волос, движение ресниц, поджатые губы, и сердце застучит сильнее, и станет трудно дышать. Прощай, прощай. Возлюбленный мой. Я верил тебе, точно солнцу, согревающему каждое утро тяжелые красные ягоды в дебрях соломонových виноградников. Я целовал тебя, как золотые пчелы целуют янтарные капли меда, я жаждал тебя, как усталый путник жаждет глотка из серебряного источника. *Бег! Бег! Возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических.*

И хотя Икар давно исчез в толпе, пестрые чужие спины поглотили его, Петр смотрел, не двигаясь, на то место, где еще недавно тот стоял. Все чувства и мысли покинули Петра, осталась лишь слабая надежда — запомнить, запомнить любимое лицо, сделать так, чтобы столь обожаемый гол звукчал в ушах, чтобы пальцы помнили шелк ненаглядных ладоней, а ноздри трепетали и цедили из морозного воздуха горький запах апельсинового цветка... куда же ты, где же ты. Здесь, возле ларька с глянцевыми пустыми журналами, здесь, возле старушки в мешковатой коричневой шубе из искусственного меха, продающей плотные ледяные рулоны туалетной бумаги. Нет, подайся немного вбок, лови его, вдыхай, впитывай, осторожней, не ударься о стеклянную дверь «адохв тен». Тыкаясь взволнованным лицом в шерстяные плечи прохожих, ушибая несчастную грудь о шершавые слоновьи ноги тополей. Лови его, он был здесь, его теперь нет, он исчез, Икар, Икар. Петр запыхался. Он прыгал среди толпящихся на Арбатской площади зевак и продавцов бананов, он ничего не соображал. Обветренные губы, остывающая слюна, ветер, слезящий глаза. Смотри, что-то приапло, сними, а то — разгоряченным распухшим от слез языком слижешь, проглотишь. Колючей перчаткой долго тер свой печальный рот. Вот оно. Разжал кулак. На темносиней вязаной ладони — маленькое перышко цвета сливочного мороженого. Перышко. Кто-то его потерял. Его, перышко. О, Икар.

Ветер шевелил черными прядями на бледном лбу Икара. Ветер обдувал сильное тело. Ветер завывал в ушах. Ветер смягчал солнечный жар. Ветер оживлял вид внизу. Казалось, что плывешь в морской воде — тот же соленый запах, те же ледяные и теплые струи, перемежаясь, заставляют

содрогаться и быстрее работать мышцы. И то же ощущение, что ты — крошечная песчинка, подвластная воле огромной стихии, и если эта стихия захочет, она проглотит тебя, уничтожит. Но пока она ведет себя благосклонно, позволяй передвигаться и жить внутри себя, и тебе радостно и светло, и вдохновенно. Выше, выше. Холодные струйки исчезают, кажется, здесь теплое течение. Плыви, лети. Не думай о смерти. Смотри вниз, на сверкающий панцирь моря, смотри и не бойся. вглядывайся в древний рисунок волн, мечтай об изгибах и завитках этого прекрасного орнамента. Ближе, ближе. Взмахнул руками, и тысячи светлых молочных арабесок вплелись в нежно-фиолетовую поверхность воды. Еще, еще. Крылья тяжелеют, наливаются солнцем, все труднее держать их, все труднее управлять ими. Полет превратился в стремительное падение. Скоро и ты станешь еле заметным фрагментом огромной картины мира, символизирующей смерть. Смерть. Смерть. Смерть. Икар закрыл лицо ладонями и устало плюхнулся на деревянную метрошную скамью. Здесь. Зачем я только ушел. Когда я говорил, казалось, вот, как легко — такие жестокие слова. Теперь посижу, кажется, он должен скоро прийти. Кажется, я еще смогу его вернуть. Привидение в темносинем ситцевом саване и одетой поверх оранжевой безрукавке, вяло возникло перед скрючившимся Икаром. В руках у привидения были какой-то жестяной коробочек на длинной палке и мертвецкое помело. Глаза привидения, как и следовало ожидать, запали, и из темных глазниц горели зловещим огнем маленькие зрачки. Седая шевелюра растрепалась. Привидение покачалось перед Икаром, сметая в кучу чьи-то белесые кости и темные пряди волос. Застыло. Нагнулось. Протянуло к Икару тощую серую руку. — Не ваше колечко? — Глухо, как из склепа. Икар в ужасе взглянул на заботливую фигуру. Оно соскользнуло с его пальца. Любимое кольцо из яшмы, мелкие разноцветные квадратики, подарок Милены. — Мое. Господи. Спасибо вам. — Да уж, нечего. Икар протер глаза. И долго еще смотрел на сине-оранжевую спину уборщицы, толкавшей перед собой большой щеткой кучку скомканных бумажек и коричневых опилок. Уже полпервого. Петр. Он так и не пришел. Успеть бы на какой-то там последний поезд, Успеть бы. Икар устремился в гущу лестниц и колонн. И, спустя полчаса, выпутался из липкой паутины метро на другом конце города. Мокрый снег оживлял бездвижье улицы, освещал тускло блестящий асфальт, похожий в темноте на торт «Прага». Пористое, какавное, кое-где лед — гладкий, словно куски глазури. С трудом преодолевая приторную вязкость ночи, Икар выплыл к светлому подъезду. Лифт вздрогнул и вознесся под крышу, и в этом движении вверх Икар уловил насмешку над своим постоянным чувством падения. И зачем только у него такое дикое древнее имя. И зачем. *Выйдя на пятом этаже, он прошел по коридору и открыл своим ключом двери 507-го номера. Там пахло новыми кожаными чемоданами и лаком для ногтей. Он посмотрел на молодую женщину — та спала на одной из кроватей. Он подошел к своему чемодану, открыл его и достал из-под груды рубашек и трусов трофейный пистолет. Он достал обойму, посмотрел на нее, потом вложил обратно. Он взвел курок. Потом подошел к пустой кровати, сел, посмотрел на молодую женщину, поднял пистолет и пустил себе пулю в висок. Но... ведь все было не так?..*

Глава 8

Какая трогательная история! Два человека любят друг друга! Да на самом-то деле все было абсолютно не так. И вообще неизвестно, как все было и было ли. Конечно, кое-что я приукрашиваю, кое-где кривою душой. Кажется, Петр у меня получился слишком уж неженский. О Милене ничего толком не знаю. Но вот Икар — возмутительно духовен. Это я пишу

не потому, что, якобы, плохо к кому-нибудь там отношусь. Вовсе нет! Просто, перечитав весь вышестоящий текст, я внезапно начинаю понимать: сюжет, о котором заранее, мне казалось, было известно все, который и теперь, мнится мне, я вполне ясно различаю сквозь магический кристалл, — сюжет вышел из-под контроля своего невнимательного и безалаберного автора. И, точно Нарцисс, разглядывая свое отражение и осознавая самое себя все отчетливей, он зажил собственной жизнью, влюбился в своего двойника и стал украшать себя, лелеять и преувеличивать свои достоинства, дабы доставить себе удовольствие и жить дальше со счастливой уверенностью в собственной красоте. Моя же задача теперь — не дать сему детищу окончательно выскользнуть из цепких и, по правде говоря, вдумчивых авторских объятий. Стоит только зазеваться — и вот уже круги возмутили зеркальную гладь реки, все кончено. Нет ни сюжета, ни вдохновения, ни мыслей. Что же касается наших героев, то пусть они останутся такими, какими сами себя сделали. А я постараюсь следить, чтобы они хотя бы не поубивали друг друга. Должен же быть хоть какой-то порядок, должна же хоть в чем-то чувствоваться авторская твердость!

Глава 9

Петр возвращался домой. Две недели — пустые, как два спичечных коробка: на белом подокознике, рядом с сонным алоз в керамическом горшочке. Пять дней назад умерла газовая зажигалка, формой своей похожая на гробик для сухого скарабея (какой-то дальний родственник, приехав из Египта, подарил — еще в детстве). Под окнами свежий снежок. Следы сочно вминаются в мягкий белый пух. Наполняются моментально черной краской оттепельных луж. Завтра уже новый год. Одиноко и пусто. В прихожей пахнет лыжной мазью. Запах давний, еще из того времени, когда квартиру населяла семья Петра — родители, бабушка. Теперь остался один. В агентстве будут справлять Новый год все, кому некуда идти. Но Петру есть куда идти. Домой. Пожалуй, надо чем-то себя занять. На антресоли куча всякого хлама. Коробка с елочными игрушками у левой стенки, в темноте, запутанная в рукава старых рубашек, обмотанная бумажной веревкой цвета кофе с молоком. Сейчас. Острое укололо ладонь. И кому только они пригодятся еще? — старые темнозеленые санки. Когда-то Петр самозабвенно их затаскивал на горку и радостно уносился вниз, туда, где с визгом разбегались в разные стороны маленькие девочки с заиндеветыми косичками, проросшими сквозь тугие суровые шарфы. Да и игрушки... Аккуратно. Веревка свободолюбиво выпрямилась, коробка чавкнула картонной беззубой пастью и изрыгнула из себя сонм блестящих шаров. Они летели на пол, их легкие нарядные тела празднично звенели, а Петр изогнулся, в надежде поймать, спасти хотя бы что-то. И сам спланировал в груды разноцветных осколков. Пир. Пир. Стекло и кровь. Свет и тени. Звон и тишина. Смех и грех. Теперь поздно, надо собрать все это, надо смести их чем-то, куда-то вынести. Надо не забыть заклеить руку платырем. И йодом. Йодом залить обязательно. И не расстраиваться. И не думать.

Милена сидела на кухне и долго смотрела в чашку со вчерашним чаем. Голубоватая пленочка распласталась на коричневой давно остывшей поверхности. Пленочка. Похожая на какого-то плоского паука. Или нет. Она слишком продолговатая. Это жук. Такой огромный жук. Африканский древний жук. Священный. Милена моргнула. Дверь хлопнула. Наконец, он ушел. Ушел навсегда. Пусто и одиноко. Невыносимо смотреть на него и знать, что он не твой. Вот глаза. Они остались прежними, но это лишь кажется, на самом деле, взгляд стал другим. За несколько дней. Хотя, нет. Это продолжается уже довольно долго. Но теперь, когда все разъяснилось,

когда больше подозревать ни о чем не надо, когда не о чем стало спрашивать, когда открыты все тайники, оказалось, что там, внутри, за смуглыми деревянными крышками загадочных шкатулок — лишь горстка летних лепестков да комочек пыли. Ни бриллиантов, ни изумрудов. Ни следа золота. А глубоко, во мне — больно, больно от внезапной пустоты, будто вырвали что-то огромное, теплое, еще трепещущее и живое, заполнявшее собой всю грудь. Милена тупо глядела на заварочного скарабея. Здесь. Я осталась одна. Я одна. Наконец одна. Окончательно наконец осталась. Я здесь.

Здесь воздух, пропитанный нежной печалью, И берег под снегом сокрыт От взглядов чужих. Лишь — звезда ли, свеча ли — Среди белой поляны. Костры — Костры здесь не в моде. Безмолвие, темень. Ладонью с плеча и до пят Скользни: ты нащупаешь только ступени, Балконы и арки себя.

Дождаться бы утра. За стеной, словно ночной сторож, бродит лифт по своим вертикальным улицам. Икар набирал высоту. Черный платок щеко-тал нежную шею, жаждавшую тепла и ветра. Господи, как все надоело. Ну, теперь уже скоро. Теперь скоро. Разноцветные плитки пола на площадке этажа сменили зеленый линолеум лифта. Кажется, он окончательно. Кажется, теперь навсегда. И как только смог он решиться на это? И как? Что надо говорить в таких случаях? Прости меня? Можно подумать, что расстались они вчера, а не две недели назад. С новым годом? Пожалуй, слишком пошло. Икар порылся в карманах. Мягкий потрепанный блокнот. Синий карандаш. Простой карандаш. Один, второй. Желтый фломастер (канарейка, замерзшая в сосульке). Маркер — черный, жирный, обугленное бревно. Пять штук. Собрали в букетик. Позвонили в дверьку. Петр открыл, окровавленный, в белой рубашке — сразу после работы, — вырвавшейся из цепкого пояса брюк и повисшей усталым помятым флагом. Перемирие? Кто это? Подними глаза. Смотри, сияй. Сияй. Не веришь? И Икар сказал: вот я.

.....

Алексей Кирдянов

ИЗ КНИГИ «НОЧЬ»

ПЕТЕРБУРГ

На стекла вечности...
Мангельштам

Замечаю: набрякло нелепо
над Петербургом промоклое небо...

И, с горечью во рту кофейного эрзаца, —
о, дребезжание... о, треск трамвая! —
скорей, скорей от Пулковского плаца,
в себе безусого курсанта узнавая...

Но задержусь, дрожа, у «Маяковки»:
прохладен дождь... (Не кажется ли, прежде
ты был беспечней в вымокшей одежде?..)
И, прикурив у мальчика в толстовке,
я вспомню вдруг: в расшатанном партере —
здесь, на Владимирском, театра —
как чей-то взор дрожал, настойчив, серый...

Но ест глаза раскуренная «Ватра»;
слепит, слезясь, мерцание витрины;
и фонарей тускнеют пелерины.

...И навалюсь плечом на плотное стекло,
в ладонь зажму монетку для размена —
в нутро скатиться метрополитена,
где чуть теплей, иль мнится мне: тепло...

А за полночь, в троллейбусе парящем,
уколет что-то холодом пьянящим:
то к сердцу мне, что скальпелек хирурга,
приложен шпиль звенящий Петербурга.

МАРГАРИТЕ

Подойди, погладь, —
говорю тебе.
Евгений Рейн

Сколько народу — кромешный вокзал!
Помнишь? — а я тебя первым узнал:
первым решил, как в пропасть с откоса... —
и о себе, без вступленья и вопроса!..

Как же, — вздохнул я тогда говорил! —
словно неотступая лишь я и жил;
словно пленила меня Лорелея...
Лапушка, — думал, — родная, — хмелея.

...Имя твое с мягким шариком «эр»;
«я — Алексей» в твой шепнул пуловер.
С мятой измятою взор серо-карих...
тонкие губы, изгиб их и жар их!..

Ты говорила, что грустно тебе
жить в общежитии города Б.;
я, тебе вторя, — о Питере вьюжном,
о несущественном, даже — ненужном...

Встреча с одной из тишайших тихонь!..
И, соскользнувши, ладонь — о ладонь!..

СТИХИ ПРО БАКИНСКУЮ НОЧЬ

О. В.

Вот: стихи написал про бакинскую черную ночь! —
как бежать мне хотелось от моря Каспийского прочь;
как слепил мне глаза, как дразнил... как расудок темнил
блеск темнеющих вод... или волн? — нет, вернее: чернил.
Спелым диском над морем... над молом, желта и жирна,
в нефтежирной воде отражаясь, лоснилась луна.
Я ж, блажной, по Бульвару метался, шепта.. повторял:
«...он нарочно меня... нет, случайно меня потерял...
Ах, куда ж ты... ах, где ж ты?... мой нежный, мой лучший дружок...» —
море было так близко, что... ай да и вышел стишок!
...Но услышал, слышал: «Пойдем-ка, Леш... поздно. Ты ж — мой».
Как в ту ночь мы, обнявшись, всю ночь возвращались домой!

* * *

Ты Ташкент листал и перелистывал —
глянцевые цветики-открытки;
звуки Музы-музыки просвистывал,
вглядывался в слезки маргаритки.

Ты же разбазаривал, раздаривал
глаз своих зеленые искринки.
И под желтовато-желтым маревом
зрел зерном ты, прозябал в суглинке...

Лягушачье ты хабэ изнашивал
нищей и зашоренной отчизны:
ты ж ее приструнивал, приглаживал
против шерсти, словно против жизни.

* * *

И ты покорен сим теплым руном,
сей войлочной гущей — и плакал;
и понял: покрыто все небо-паром
эмалевым, палевым лаком.

И знал ты: роптанье запрещено,
но знал: всего лучше — блужданье...
Не ты для отчизны нежданый щенок,
она для тебя — ожиданье!

Что ж, влага сей жизни жестка, строга —
жесток и жесток порожек...
Нежнее тем ночи журьба-игра,
чем небо жарче, дороже.

* * *

Дымок кудрявый уличных шашлычных
щекочет ноздри, стелется лениво
вдоль пыльного асфальта... Или зычный
слюнявый голос плюнет торопливо
про «свежий творог» жирный... Абрикосы,
ворсинками подернутые, купишь...
А все-таки, черны глаза, раскосы
у спутника, который «Что ты любишь?» —
держу пари — не профилонит, спросит.
А ты — одну из тех, что есть в запасе
всегда теорий — ту, что приморозит
слегка страстишки эти седовласы...
«...есть идеал мучительный — он бреду... —
твои слова что горсть сухих фасолин, —
...сродни... все ж, есть!..» Закурит сигарету,
чуть раздражен твой спутник, он уволен:
«Мороженого хочешь?» — и заметит
без зла: «Не хнычь, любитель совершенства!
Все кончится когда-нибудь — и этот
ворсистый вечер мнимого блаженства!..»

* * *

Я стал слегка сентиментален:
как сухи небеса тугие...
О шелк прохладной ностальгии
по темноте полночных спален!..

Круженье веток, листьев блеклых
дрожанье — шелесты сухие.
Июльской отблески на стеклах
лепящей солнечной стихии.

Устам, пожалуй, и пристало
шептать о влажности и плюше
упругих чых-то... А, усталый,
мой шепот тише стал, и глуше...

* * *

Но вспоминая небо августа —
лоскут, что сух, вернее, выжжен, —
я соглашаюсь: что ж, ты прав — густа,
влажна и мягкость черных вишен.

И что осталось нам? — ах, тающей
полоски краешек, чуть синий;
и только дрожь по коже — та еще...
налет черешневый — что иной...

Еще не сыты вязкой гущею... —
о, небо августа! — досталось
из ягод поздних выбрать лучшую,
и пригубить. Такая жалость!..

* * *

И молитвы все, и просьбы глупы;
и стихи — лишь горсть блестящей пыли...
Но твои, столь сдержанные, губы —
я-то знаю, как они любили!..

Лиловее на закате небо.
Миражи — звезда и море, счастье...
В жизни нам так мало нужно хлеба...
Но твое горячее запястье!..

Все слышнее время — шаг олений!..
Луч зари чуть брызнет на оконце,
а я все под гнетом наваждений:
лен любимых глаз сильнее солнца!

* * *

Good night for mothing.
Nabokov

Ласточка нежная крыльев
шелестом в небо скользят... —
шорохам этим стигийским,
всполохам верить нельзя...

Дружное тверди зиянье
звездное, бражник, вскружи! —
крылышки тальком напудрив,
тьму виражами вяжи...

Тьма эта — бражная — в лужах
вновь отразилась — и вот:
слышно, как тлеющей прелью
мой охраняет живот..

НОЧНАЯ БИЖУТЕРИЯ

Не без сожаления, достойного, быть может, и лучшего применения, приходится констатировать, что текст, который я собираюсь предложить вашему (предположим!) вниманию, требует некоторого количества предуведомляющих его строк. Почему? Отвечу прямо, даже и не надеясь, что вы попадетесь на эту неандертальскую удочку. Все станет совершенно очевидным из самих пояснений, к каковым и приступаю незамедлительно.

Итак, некоторое время назад — да, как сейчас помню, была почти эдемическая майская ночь (Луна и звезды, свод небесный, алло, протиснись, мой друг прелестный...) — терпя танталовы муки бессонницы, вызванной, должно быть, чрезмерным злоупотреблением высококачественным кофе «Арабика», я решил, что следует посвятить эту ночь, раз уж обстоятельства таковы, каковы они есть, легким и приятным развлечениям, навевающим сон. Откупорив с помощью штопора типа «де Голь» бутылочку красненького и обнаружив в холодильнике жалкие остатки, которые, как известно, сладки, сыра «Бри», я наконец приступил к основной части своей колыбельной, а именно: раскрыл пухлую папку, оставленную мне в наследство отбывшим в родные пенсильванские пенаты молодым, но уже небезызвестным славистом Артуром Вартоком, которую он использовал, видимо, для тех же морфеезазывательных целей. В папке находилось около сотни русскоязычных текстов самых разноименных авторов. Остается только догадываться, какими путями эти тексты оказались в руках моего обаятельного американского друга. Причины же, по которым мой удачливый тезка решил оставить эту папенцию там, где обрел, становятся прозрачными, стоит лишь развязать тесемки. Основная масса состояла из текстов, неотличимых друг от друга, словно однояйцевые близнецы, разнились они разве что, так сказать, своей направленностью. Были там и символятина второй свежести, которой, как известно, не бывает, и бесполье концептуальные бредни, и шварцнутые сказочки, а также романтико-метафизические притчи, авторы которых черпали свое, с позволения сказать, вдохновение из источника «Высокой Истины» или, вторгаясь в современные страсти, почти хирургически вызывали некий мистический свет из глубин... И прочая дребедень, тянущая — в лучшем случае — на «Букера», которого за хорошее дело, понятно, не дают. Попадались, впрочем, тексты и более любопытные. Обнаруженный мною рассказик относился как раз именно к этой категории. По крайней мере мне так казалось, когда я просматривал его, как водится, мельком и еще не будучи уверен, что именно он составит мне сегодня компанию. Однако, полистав другие, я выбрал из двух зол меньшее и вернулся к нему.

Едва начав читать более внимательно, я ощутил в пальцах правой руки редакторский зуд. Да и как могло быть иначе?! Обычная словесная белеберда-Аглы, голубые цветочки графоманской риторики соседствовали с почти просперовскими, очаровательными Багамами, которым, однако, грозило полное затопление к финалу. Тут надо заметить, что он

оказался именно таким, каким я его себе и представлял, — истерично бездарным. Ни секунды не сомневаясь в правильности и нужности моего вмешательства, я принялся за работу, то есть просто выписал без каких-либо изменений те абзацы и предложения, которые мне понравились, чем сократил первоначальный объем текста более чем на половину, отчего и без того далеко не полноводный ручеек фабулы и вовсе пересох. Но, вот странное дело, лишившись идиотской своей среды обитания, выписанные мной отрывки стали безжизненнее, чем припиленные английскими булавками бабочки фаулзовского Калибана. Взяв ножницы, я разрезал исписанные мной листочки на части и занялся комбинированием, надеясь все-таки обнаружить ту тайную интонационную связь между ними, которая и станет истинной структурой будущего текста. Наконец труды мои были вознаграждены, и, читая один из вариантов, я понял, что нахожусь на верном пути. Через пятнадцать минут рассказ был состряпан. Мне оставалось лишь дописать соответствующий ему финал, что было уж совсем просто. Вот, собственно говоря, и все.

Да, кстати, о неграх: все желающие могут поразвлечь себя тем же способом — проанатомировав получившегося в результате моей дурной алхимии монстрика, попробовать из того же материала создать своего. Дерзайте!

Что в мире есть? Ничего
в мире нет,
все только может быть?

А. Введенский. Четыре описания

Дурацкий десятицентовик, серебриющийся заемным светом, чьи чуть размытые очертания создают впечатление, будто он черпает болезненную, нестерпимую, невозможную свою яркость из шероховатого мрака бесконечности, он корчится в судорогах теневого изыяна и через несколько дней, знаю, окончательно превратится в одинокий, изыщно изогнутый коготок, этими метаморфозами гордый. Таким его обычно и изображают на иллюстрациях к арабским сказкам, где он зияет чуть ли не бритвенным порезом среди неуклюжего эскорта пяти-шестипалых звездочек, размещенных с такой художественной небрежностью, что нет сил более двух-трех секунд лицезреть эту астрономическую шизофрению; в других же случаях (изданиях), предназначенных, видимо, читателю, перешагнувшему порог пятилетнего возраста и уже отчасти знакомому с законами перспективы, звездочки и вовсе атрофируются в безобидные светлые точки, кажущиеся на фоне темно-синего, почти фиолетового неба, распростертого над кемелообразными очертаниями предполагаемого Багдада, едва ли не типографским браком, однако чуть правее опрокинутой пиалы мечети не без изумления можно обнаружить искаженный и все-таки неизменно узнаваемый ковш мутировавшей Медведицы. Какой-то крещеный нанаец, попав под перекрестный огонь рекламных неонов, уже есть неонек. Не он, и конец! Все! Но вот он поворачивается, и пунцово-пионовый профиль превращается в столь же клоунский фас, то и дело преобразующийся от мимолетных брильянтовых автомобильных всполохов: округлые линии его лица вдруг заостряются, становятся какими-то изломанными, угловатыми, резкими, словно на портрете, выполненном в духе хворающего кубизмом Пикассо, но мгновенно позже обретают улыбчиво-округлую,

дешевую привлекательность статуэточного Будды. Рядом, всего лишь в полсекунде, в полузвгляде, застывшая на полувздохе, почти из зябкого воздуха возникшая, фигура — неясный в игривах, почти равнодушных, бесшабашных отблесках ноябрьского вечернего освещения силуэт, который мое воображение, опираясь на одни ему известные смутные приметы, хранящиеся в бог знает каких темных нишах памяти, достраивает до восклицания узнавания, вдруг позволяющего, наконец, осознать то неразличимое в общей сумятице впечатлений предчувствие, что несколькими минутами раньше с терпким шелестом скользнуло по поверхности души и, испуганное, должно быть, некой заминкой, заиканием действительности, сгнуло прочь, чтобы чуть позже — да, именно сейчас, когда я с гримаской удовлетворения отметила про себя, что суетливая манера Вероники закуривать сигарету ничуть не изменилась, сейчас это предчувствие — легкое, едва заметное беспокойство, бледная тень какого-то ожидания и абсолютная уверенность, что за мной кто-то тайно наблюдает — вновь вернулось ко мне, но лишь затем, чтобы наставительно прошептать: «А ты мне не верила», — и, сбывшись, исчезнуть.

«Привет... Да, вполне... На волне... На маяк...» — отвечала я. И последовавший далее, размазанный, словно маниакально-манная каша, во времени, бред случайного разговора каждый, преодолевая неизбежную скуку, легко может восстановиться сам, потому что он всегда неотличимо одинаков, вне зависимости от наших обстоятельств и желания придать ему интонацию, не нарушенную временем невстреч, почти интимной близости, когда-то бывшей, которая переводит любой разговор в совершенно особый режим друг другу, что ли, сопричастности. Но подобное желание тонет в мутном, лишенном каких-либо оттенков, потоке разочарования и унылого, чуть тронутого гримом любопытства, умирания, завершающегося удушливой анестезией сознания и всех органов чувств, когда слова превращаются в неотличимый от уличного шум. Нечто подобное — исчезновение слов — порой можно наблюдать, когда, стоя у прилавка в книжном магазине, открываешь наугад приглянувшийся томик и обнаруживаешь там фразочки, похожие на плюшевых спилберговских чудовищ: «Как Рикер, так и Старобински в реинтерпретации фрейдизма акцентируют герменевтический элемент, превращая психоанализ в феноменологию гуссерлианского образца». Книжка захлопнута. Согласитесь, гораздо приятнее, забавнее вместо «...апологет удовольствия от текста Ролан Барт...» прочесть следующим образом: «...аллигатор удовольствия, от текста Ролан Берт». Да, именно так, и непременно с запятой в середине, которая замечательным образом, так ритмически, организует фразу, что французский структуралист преобразуется в неистового Роланда.

«Познакомься, это Гюнтер!» — Вероника быстрым кивком умертвила неонца, реинкарнировав его в добропорядочного немца в длинном полумесяце нежно-кремового цвета. Забавляясь, *vent-enfant* швырнул между нами скомканный, посеревший клочок бумаги с неразборчивыми письменами. О лукавый стенографист! Ах, Верона, сейчас паду я, это ли не R. E. M.?! У лиц от неосторожного движения загибаются уголки, и там, в этом исключительном из пространства изгибе судьбы, наша, казалось, навсегда отпустившая, боль вновь умудряется кольнуть в незащищенное ахилесово местечко, куда как раз ухнула наша душа. К чему такая глупая иглотерапия? Чтобы предотвратить писчий спазм, мигриграфию?! Чтобы помнить: все так непрочно, так хрупко?! Я помню: пророк отличается от порока лишь наличием рычащей согласной. Согласной на что?

Магазин-салон на параллельной нашим жизням стороне улицы, утерев сердоликовую «н» на хвостике, превращается в «магазин Сало...» «Все для 120 дней!» — лепечет на неореалистическом итальянском приказчик-маркиз, чуть наклоняясь над прилавком и фривольно выпячивая свой де Зад. Да, конечно, заверните мне все это в прозрачную, хрустящую пленочку целлофана! «И того еловолосого фавненка, Анна?» Да, я возьму с собой и его. Пусть он навсегда останется стоять под перезревшим плодом светофора, игнорируя сладострастные подмигивания рубиновых автомобильных глаз, пусть замрет осторожно-надкусывающим ломкую шоколадную глазурь эскимо, желая, должно быть, поскорее добраться до молочно-перламутровой, охлаждающей небо и душу начинки, нежный берберский самаритянин. Ах, ну конечно же, он поедет со мной. «Вы куда-нибудь собираетесь? В Канны? В Канаду?» — любопытствует кассовая нимфа, возможно, кокетничая. Вы не ошиблись в принципе, но, к сожалению, существуют еще и частности... Я канаяю на Канарские острова, первой же реактивной канарейкой... Будьте любезны, дайте же еще жестянку помешанного напитка, нет, вон ту, джинанас...

«Ну все, нам пора», — миленько прощebetала Вероника, подсластив фразу светским подобием улыбки, когда мы вновь оказались на улице, оградив себя стеклянной дверью от бизнес-вежливости неогоциантов. И вызвав со стороны своего оловянного Пер Гюнтера целый фейерверк растерянных, рассеянных, бассейнных (каких еще?) взглядов (О! Не смотрите же так на меня, Херес Гамбургер, даже наши глаза говорят на чуждых друг другу языках!), она коснулась моей щеки — ах! жалкое, жалкое и безобразное подобие былого — заморозком своих, ныне всего лишь прелестных, губ. Прощайте же, г-н Интер, нынешний обладатель моего потускневшего сумасшествия, всего хорошего и постарайтесь, вот вам мой совет, постарайтесь не задавать глупых вопросов. Прощай и ты, Ника-победительница и покорительница сердец мюнхенских бургеров. Но, может быть, с тобой, мой русаленький цветочек, маргаритка, дрянь, с тобой мы увидимся еще раз, так что: «See you later», — на променаде по берегу Леты, чуть позже, чем никогда.

Уходя, главное — не оглядываться, чтобы не оставлять следов. Пусть те лучше противно скрипят под подошвами ботиночек, когда, свернув в арку, желая проходными дворами вынырнуть в четвертое измерение другой улицы, оказываешься среди россыпи фальшивых, бутылочных изумрудов, миновав которые, пройдя еще несколько неприметно служивых в своей безликости метров, слышишь за спиной торопливные шаги, кажущиеся эхом собственных, с тем же мерзким, пискляво-скрипучим отзвуком стекла, скользящего по асфальту. Несмотря на брезгливое раздражение, невозможно не оглянуться, любопытствуя, что же послужило причиной такого отвратительного следствия. «Это я», — произносит Лида, догнав меня. И далее на мягкой восковой пластинке памяти запечатлелись: ее рука, тянущаяся ко мне, почти робкое прикосновение губ к моей щеке, всплеск карминовых ноготков, как последняя уступка здравому смыслу. И я провалилась в мескалиновый рай беспомощности, ведь счастье тем и отличается от своих суррогатов, что к нему невозможно привыкнуть.

Как спит человек? Об этом узнаешь, когда неожиданно (кто бы мог подумать?) просыпаешься ночью среди неразберихи мыслей такого пробуждения, среди предметов, среди, с человеком, который — удачная кандидатура левому плечу, между прочими, что обеспечивает прочно-порочную связь, не минуемую, не мнимую, не мнемозинную, но в каком-то смысле мимозную, знаю, в данной точке — немую. И будильник, неудачнейший из друзей человека, тикает чуть асинхронно глухим

ударам осторожно подбирающегося к самой гортани сердца, и неизбежно от него отстает. Так что человек спит очень тихо, как будто бы его здесь и нет, как будто бы он спит. Что ж, здоровая практика. Но, кажется, даже не дышит, словно последний вздох излетел из существующего параллельно тела еще на улице с клубящейся синевой табачного дыма, выпорхнул из горловины горла горлицей, орлицей вознесся к небесам, к перламутровому мерцанию Ориона, стремительным дротиком тугодома Арея, бряцающего доспехами ночных, одиноких (ах, зачем же не беспризорных!) трамваев, поразил светфор, и тот вспыхнула красным, устраняющим перемещение светом, с ветром (Бореем? Зефиром? Каким?), соперничающим в скорости престранного распространения в пространстве, каком-то таком — вот! — стеклянном. Спящий человек есть многое: молочные Анды, шум, похожий на храп, издаваемый за окном изредка проезжающими двусносными экипажами, оснащенные двигателями внутреннего сгорания; а также есть: неожиданно громкий хронический кашель холодильника, муторно-счастливое безмыслие быстрого движения глаз и медленное вращение тела вокруг какой-то своей, очень собственной оси, на другой бок, словно кто-то переворачивает песочные часы одурманенного Морфеем сознания и первые хрустальки снов (первый, второй, третий, о чем?) уже проскользнули через положенное им микроскопическое отверстие.

Сны не думают. Сны знают — нет никакого человека, есть лишь запах, оставшийся после — едва уловимый аромат орхидей, которые не только зацвели, но уже и некоторое время назад отцвели. И ты, полуспящая-полупроснувшаяся, быстро-быстро и умильно, словно ежик, фырчишь, пытаешься обнаружить наиболее пораженную этим нервно-паралитическим дурманом область подушки. И, найдя, открываешь глаза, делаешь несколько глубоких вдохов и выдохов, как если бы стоя у окна вдыхала свежий, тонизирующий, озонированный дождем воздух. А потом, вновь западая в сюрреалистические глубины псевдоаида, делаешь несколько быстрых вдохов, словно желая вобрать в себя без остатка тот, оставшийся на ничем не примечательной наволочке, аромат, потому что несправедливо, что он принадлежит бездушной тряпке, а не тебе, покинутой и несчастной. Или ты вдыхаешь так, будто хочешь вдохнуть в себя человека, уже ушедшего, чтобы таким образом хотя бы на несколько мгновений вновь слиться с ним, прильнуть к нему слизистой, закутать в саван легочной ткани — человеком тем задохнуться. Задохнуться и превратиться в памятник тому, кто здесь спал, пал смертью храбрых и нежных под безжалостным ливнем наркотических игловкаливаний весьма эфемерного анестезиолога.

Спящий, ты знаешь, в предрассветных сумерках — это лишь мираж, смутно различимое пятно, без рук, без ног, просто пятно, спятившая пятка, выглядывающая из-под одеяла, а разноцветная бабочка-татуировница кокетливо примостилась на спине, чуть выше левой лопатки. Спи же спокойно, хрупкая моя менада. Пусть ни рука, ни капиллярная ручка не коснутся тебя, пугая. Цвети, расцветай, моя альбертинка, серо-алой полудремой своей. Спи, потому что просыпаться ночью глупо, потому что эти мои ночные тревоги смешны и нелепы, потому что у нас было вчера и будет завтра, и нет ничего безнадежнее, чем пытаться вспомнить то, что еще не стало прошлым — тебя. Да и само понятие «время», впрочем, находится вне той плоскости экранированно-рафинадного существования, которое столь присуще нам с тобой, его смакующим. Потому, быть может, и бесплодны мои попытки совладать с помощью авторучки с тем нервным одиночеством, с той лавиной обрывочных

воспоминаний о дне минувшем, настигшими меня при внезапном пробуждении, что ты совсем рядом со мной, и моя кожа еще помнит шаловливый бред твоих пальцев, твоих губ, оставляющих на ней путанную, едва влажную, ментоловую дорожку счастья?! Вероятно, быть может, вполне возможно, что я сейчас просто предаюсь самому бесстыжему бумаговредительству, подобно десяткам тысяч разнообразных маркерсов, что вечерами напролет паркесами марают целые парсеки пейпы: строчат какие-нибудь очередные эпохальные псевдомемуары из жизни латиноамериканской Деканьки, угадывая ненароком тайные желания отставных полковников, которых, впрочем, давно уж никто... Нет! Наверное, нет! Все не так! Не так уж и страшно. Я всего лишь пытаюсь спастись сама и убереечь то сладостное замирание на краю манящей бездны. И я стою над этой пропастью во ржи (где же ты, Холден Колфилд?), такая вся маленькая и беззащитная и глупая-глупая, потому что хочу туда, потому что не могу не хотеть туда, потому что я ничего другого не хочу. А еще здесь, на краю ночи, я пытаюсь представить, что меня там, в этой пропасти, ожидает. Но когда я думаю об этом, то получается какая-то пресная романтическая белеберда, слишком пышная и вычурная, чтобы быть правдой. То есть рассуждая сейчас о каких-то потенциальных возможностях, я кажусь себе идиоткой, начитавшейся романчиков викторианской эпохи: сплошная докука и сентиментальная водичка девичьих ночных грез, вызванных 25 каплями ладана. А ведь для меня чопорный моралист хуже, чем некипяченый опиум. Привет, Томас де Квинси! Merde! Я, кажется, начала оправдываться. Не хочу. Не буду. Я пишу потому, что я пишу. Великолепное объяснение! Потому что потому. Потому, что проснулась этой ночью, с которой мне не справиться в одиночку, ведь ты, хоть и рядом, но спишь, и я боюсь тебя разбудить. Но нет, это невозможно, что ты со мной... Так близко... Так далеко... Так не может быть, но — Боже мой! — есть... Я задыхаюсь... Замечательно! Лунный свет такой, оказывается, бледно-сиреневый и такой слабый, что я почти не различаю букв, которые пишу, гораздо легче было бы писать, закрыв глаза, наощупь... Смогу ли я утром разобрать хоть одно слово из всего написанного сейчас, или передо мной окажутся лишь невнятные каракули, иероглифы счастья... Но это все чушь... Неважно... Главное — дожить до утра... Проснуться... А сейчас уже давным-давно пора... Мне пора...

Нежнейший из экзекуторов покидает нас, оставив распластанными на несоразмерной нашему телу дыбе, чуть ли не поскуливающих, словно дунайская такса, когда соленой капелькой скользнет по скуле неожиданный после только что утихшего, почти спиритического постукивания хилый солнечный лучик, осторожный и все же нестерпимо болезненный — вскрик, разомкнувший губы, когда блуждающий в приглушенной полутьме огонек сигареты случайно коснется руки, оставив на коже воспаленный след укуса. Пить уксус утра! Крокодилов есть! Впрочем, некоторая ошибка, неточность. Даже не лучик, а недовзроплотившаяся, бледная его тень, какой-то так и не налившийся пронзительной яркостью его отголосок, предуведомление, похожее на теплое, едва ошутимое дыхание, коснувшееся взволнованной щеки и затянувшее паузу между двумя сокращениями сентиментального органа до: еще чуть-чуть, и случился бы сердечный придурак, выскочивший из парализованного останковкой трамвая жизни.

Шторы, сделанные из черного бархата и похожие на театральный занавес, раздернуты. За окном, если запрокинуть голову, вдавливая затылок в подушку, декорация синего неба, по которому невероятно

быстро скользят по-буденновски серебристо-серые облака. Моя рука гладит остывающую пустоту рядом. Лида, видимо, только что встала. Да, самое замечательное — это просыпаться вот так, когда из обшарпанного «Шарпа» струится, заполняя собой всю комнату, голос Лизы Герард. Я некоторое время неподвижно лежу, прислушиваясь сквозь музыку к звукам, которые доносятся с нашей маленькой кухоньки, отделенной от комнаты лишь тоненькой перегородкой. Наконец, почувствовав аромат готового кофе, я поднимаюсь, но тут же валяюсь обратно, потому что голова тяжелеет, словно ее залили свингом, а во рту привкус болезни, зарождающееся туманное блаженство ангины. Так что, похоже, я сегодня никуда не поеду, а буду весь день сидеть дома, попивая — пусть и третьесортное — иберийское вино, подогретое и обязательно — с сахаром и корицей.

— Лида, что ты делаешь, когда у тебя болит голова?

— Я быстренько теряю ее и жду, пока вырастет новая, — слышу я в ответ. — С добрым утром!

Дверь в комнату открывается с мышинным шорохом или так, будто ворох охреневшей от охры листвы поддали ногой, словно — футболизирующая головой Олоферна — Юдифь промахнулась, и шипастая бутса прошептала, войдя по касательной в соприкосновение с куцым, желто-коричневым газоном поля, шепнула тому что-то эдакое, тривиальненькое, и тот в ответ брызнул опавшими листьями и комочками земли, а кожаный глобус, несущий на себе очертания причудливых континентов, сотворенных из магазинного, непорочного небытия Времени Употребления, он остался неподвижен, словно приклеился пимпочкой предполагаемого Южного Полюса к своему астрономическому собрату.

В шелковой, цвета шампань, блузе (в краденых матросских брюках и кожаных сандалиях?) и пижамных пижонских брочках, сама вся растрепана и Клаудиа (Шоша?) Шиффер, входяшь ты в комнату, неся прямоугольный деревянный поднос, на котором, помимо двух маленьких, кубовидных на несколько неторопливых глотков, коричневых керамических чашечек и глуповато-фаянсового блюдечка с голубой каемочкой и тонкими, почти прозрачными ломтиками голландского сыра, к сожалению, почти безвкусного, несмотря на многообещающее название, да еще круглой пепельницы на четверых и нераспечатанной пачки сигарет, помимо всего этого — наша гордость! — кофейник, похожий на тот, что изображен на желеобразном натюрморте Анри Матисса.

— Мадам желает поиметь свой завтрак?

— Мадам желает, но вовсе не завтрак, — отвечаю я, вновь чуть приподнявшись и опираясь на локоть, — поставьте, милая, поднос.. Вот сюда... На табуретку... Осторожно!

Край подноса задевает за живое стоящий на табуретке в позе полной буддийской отрешенности будильник, и тот кончает жизнь самоубийством: слышу звон разбитого стекла, дурно предчувствую полную остановку времени.

— Так чего же хочет мадам? — невинным тоном интересуется Клер-Соланж.

— Ах, мадам желает всего лишь чуть-чуть любви! — томно произношу я, хитро щуря глаза, так как по природе своей животное слабое и болезненное.

И ты покорно наклоняешься ко мне, подставляя похотливым губам моим свои, влажные и вишневые. Руки мои скользят по лекалообразным изгибам твоего гибкого и упругого, будто каучук, тела. Звезда моей

страсти, присаживаешься ты на диван и вдруг неожиданно сильно и нежно обнимаешь меня, вызывая в груди землетрясение, шепчешь какую-то ласковую абракадабру, пристально смотришь на меня огромными устрично-серыми глазами. Мои большой и указательный пальцы, совершив свое сентиментальное путешествие, взбираются на пригорок твоей груди и, нащупав сквозь тонкую ткань твердеющий бордовый сосок, сжимают его в своих объятиях. А ты, запрокинув голову и предоставляя моей слюне засыхать на твоей беззащитной, эрогенной, модельняиевской шее с едва заметно вздрагивающим под хрупким декабрьским ледком ручейком вены, ты замираешь. Ах, почему мы не говорим на венгерском? Почему живем не в Карпатах? Почему я не Дракула? Не голодный вампир? С каким наслаждением я вонзила бы в тебя свои белоснежные клыки и выпила бы тебя одним глотком, словно бокал красненького алжирского, чтобы ты навсегда осталась со мной, во мне, в вине. Язык мой, враг мой, хотел бы слизать тебя, словно леденец, с палочки бытия. И слизал бы, уверена, слизал, если бы не приступ кашля, разъединивший нас.

— О, я, похоже, заболела. У меня кашель, а еще болит горло и голова. Наверное, температура тоже есть. Полный джентльментский набор для озабоченной леди.

— У нас, кажется, осталось вино?! — произносит Лида с беспокойством в голосе.

— Да, я знаю. Может быть, оно меня утешит, пока тебя здесь не будет, когда ты будешь в электричке, в кафе, в гостях, где угодно, только не здесь — не со мной.

— Ну, ты же знаешь, что мне обязательно надо ехать.

— Да, но разве от этого легче? Впрочем, поезжай...

— Не расстраивайся, я очень быстро вернусь, но не раньше, чем вечером. Хорошо?

— Проваливайте, милая, проваливайте, — милостиво соглашается Мадам.

На каких волнах безумья покачиваясь, от чего ускользя, что утаивая... Утрачивая равновесие и доброе расположение звезд... Разбирая ночные каракули, по крайней мере, делая вид, но краем глаза наблюдая твои быстрые сборы. О чем ты думаешь, рисуя черной тушью лепестки у глаз, крася губы, нежно-розовым тонируя щеки? Вспоминаешь ли — как вчера, утомленные «Утомленными солнцем», вышли мы из кинотеатра, кажется, около десяти, и отправились на поиски кафе? Сейчас я уже не могу вспомнить ни его названия, ни местоположения. Но там был уютный полумрак, мало-позитивная музыка. Несколько столиков, за которыми со своими барби сидело несколько мальчиков в синих и малиновых рэдинготах. Табачный, не передохнуть, дым. За стойкой миленькая тетенька, предположительно нашего возраста.

— Чего вы хотите?

— Два маленьких сахара без кофе, — ловлю на себе недоумевающий взгляд.

— О, ты все перепутала, — помогает мне Лида. — Два маленьких кофе без... с... сахаром.

Мы занимаем до крайности крайний столик, за которым медленно созревает селадоновый, похожий на гюнтеровский, плащ, медитирующий на бокал с содержимым цвета урины. Выражение его лица отсутствует за отсутствием такового. Или нет, оно похоже на физиономию фаршированного колбасуся с Сангильских островов под соусом a la Bolivian. За соседним столиком пышногрудая красотка блефует наличием интеллекта.

— Ой, я тут такую книжку прочла... «Любил ли вас Брамс в холодной воде?» Такой тонкий роман...

Ее спутник сохраняет каменное — до отупения — выражение лица. Колбасу за нашим столиком постепенно начинает оживать и неуклюже пытается завести разговор, но без коньяка это ему не светит. И он отправляется в паломничество к стойке. Стоик! Что ж, настоятельные, но примитивные эротические фантазии требуют финансовых жертв, но даже в таком варианте малолюбопытны.

— А вы случайно — не сестры? — спрашивает пронизательный К., вернувшись.

— Нет, — отвечает бесстыжая, потупив глаза, — мы иное.

Как, однако, быстро умеет собираться человек, который собирается уйти, уехать, пусть и ненадолго, но исчезнуть. Черные «Lee» легко пришли на смену пижамным брючкам. Ботинки с высокой шнуровкой уже одеты, кожаная курточка накинута, рюкзачок собран. Лида направляется к столу и берет купленную мной вчера книгу Й. Пе «На дне».

— Можно, я возьму?

— Уже взяла, — ворчливо отвечаю я, но заметив, что Лида собирается положить романчик на место, меняю тон. — Бери, бери. У меня есть что почитать. Чрезвычайно любопытный трактат Алэна Бонлара о педерастии у планктонов.

— Ну ладно, я пошла. А ты целый день будешь здесь или все-таки выберешься вечером в город?

— Не знаю. Может быть.

Дверь открывается с мышинным шорохом. В прихожей звякнули сезамки, хлопнула, щелкнула, истерично взвизгнула входная дверь. Я одна.

Мы каждый вечер вечером в городе. Что там делаем? Заболеваем ангиной или Англией, это где-то в районе затылка. Мы каждый вечер вечером в городе, потому что город для нас всегда вечер, так же, как утро — наша комнатушка. В городе экспериментируем: если не договариваться о встрече, о месте, о времени, то возможно ли... Да, возможно, каждый вечер вечером в городе. А если все-таки не случится? Этого не может быть ни просто, ни сложно, никогда. Всегда — да, иногда уже на обратном пути, на платформе отчаянья, в плачевном вагоне электрички. Такая у нас игра, согласитесь — соблазнительная.

Закрываю глаза, потому что вместо неправильного «потому как». Носом тычусь в собственное плечо, слабо тлеющее дерзким даром Анд. Дотянувшись до полочки над головой, среди парфюмерных цилиндриков и коробочек нахожу педиатрическую «ртутную сигару», несколько раз встряхнув которую, загоняю температуру в район нулевых отметок по поведению, по вместоестествоведению, наконец прячу градусник в карман подмышки, что, впрочем, излишне, — наверняка знаю: по утрам 37 и 2. Замираю, вся неподвижность, будто примериваю на себя положение мертвого тела. От собственного безразличия к происходящему (ведь душа моя без тебя — пустыня) впадаю, словно Нева в Финский залив частичного дефекта, в статичный экстаз экстатичности. Лида смылась из Аида. Раз, два, три, четыре, пять, вышла Лида погулять, восемь, девять, десять — секундают секунды ежесекундно, мгновения множа, кожа моя ослепла, каким хмурым слепнем искусанная... Зачем один человек уходит? Зачем другой человек остается один? Разве им нельзя вместе? Нельзя. И это прекрасно. Ведь присутствие ушедшего иногда еще больше невыносимо, чем его отсутствие, и, быть может, только совмещение в единой точке безвременья этих противоположно-

стей существования дает шанс выжить любимому, любящему, с каждым днем все острее чувствующему непереносимость счастья, такого желанного и призрачного. И, наверное, именно это по-настоящему пугает, ведь каждый раз кажется, что ты оставлена навсегда. И чем сильнее любишь человека, тем меньше ему доверяешь, хочется его уберечь, спрятать в себе. Ты начинаешь его учить, поучать, словно таким образом пытаешься перекроить весь мир на свой, безопасный манер. И я знаю, знаю, что так нельзя поступать. Но, к сожалению, это знание не стоит и покинутого Еленой яйца.

За окном, за закрытыми глазами, за пределами понимания, в области слуха — катастрофа: оглушительный, нервный визг тормозов, какая-то аварийная дребедень шума. Слышу и почти физически ощущаю прорвавший плотину событийной обыденности поток коллективного бессознательного. И что-то во мне вдруг обрывается, исчезает, истаивает. Я перестаю чувствовать собственное тело и, кажется, отделяюсь от него, — оно плавает где-то внизу, в каком-то плотном туманном мареве, скрючившись, словно зародыш в банке со спиртом. Я уже не имею формы. Кичусь отсутствием содержания. Я, наверное, облако, беспечно плывущее по индиговому Эдему. Когда-нибудь я потемнею от накопившейся во мне влаги, стану огромной, «во все небо», мерцающей молниями; стану такой, какую любил Федр Иванович, значит, где-то в начале мая. И тогда-то, быть может, я всплакну об утерянных мною времени и теле, чтобы, совершив заданный круг метаморфоз, вновь, хотя бы и частично, их обрести.

ВСТРЕЧА С СОВЕРШЕННОЙ

В числе наиболее выдающихся литераторов эпохи Тан исследователи часто называют поэта Юань Чжэня. Юань Чжэнь (779-831) был близким другом великого Бо Цзюйи*. Их творчество настолько тесно связано, что стиль, характерный для этих двух поэтов, в китайской художественной традиции получил название «Юаньбо», представляющее собой сочетание фамильных иероглифов Юань Чжэня и Бо Цзюйи. Со стилем «Юаньбо» обычно связывают возрождение литературы в жанре песен «Юэфу», однако, и у Бо Цзюйи, и у Юань Чжэня есть прекрасные уставные стихи.

Юань Чжэнь был не только поэтом, но и видным государственным деятелем. Одно время он занимал даже пост первого министра, но нежелание мириться с творящимся в стране чиновничьим произволом и постоянная критика в адрес государственных сановников привели к тому, что позиции Юань Чжэня при дворе ослабли, количество недовольных его действиями росло, и в конце концов слишком требовательного министра понизили в должности и послали в далекую провинцию. Но и в ссылке Юань Чжэнь продолжал оставаться верным своим идеалам. Его исполненные гражданского пафоса стихи настолько понравились государю, что вскоре поэта опять приглашают в столицу и назначают на высокую должность в приказе обрядов и церемоний. Однако вся история повторяется заново: через некоторое время Юань Чжэнь снова попадает в немилость и уезжает в провинцию. До конца жизни он больше не возвращается ко двору и умирает в Учане на посту военного цзедуши.**

Принято считать, что все творчество Юань Чжэня пронизано идеями гражданственности и желанием исправить пороки, но это не совсем верно. Стихи такого рода действительно занимают значительную часть дошедшего до нас наследия поэта, однако, у Юань Чжэня есть и глубоко личные, полные лиризма произведения, наиболее известным из которых, бесспорно, является новелла «Повесть об Инъин».

В новелле рассказывается о несчастной любви студента Чжана и прекрасной молодой девушки по имени Инъин. Повествование ведется в прозе, однако в «Повести...» есть и довольно крупные стихотворные вставки, наиболее значительным из которых является ода «Встреча с Совершенной». События, изложенные в поэме, рассматриваются здесь по-новому, на сей раз в форме аллегорического рассказа о встрече с прекрасной небожительницей. Мир оды мистичен, Инъин преобразается здесь в богиню Сиванму, владычицу рая бессмертных на горе Куньлунь, а студент Чжан становится, очевидно, встречавшимся с ней императором Му (встреча эта описана в знаменитом «Му тяньцзы чжуань» — «Жизнеописании сына неба Му»).

* Бо Цзюйи — танский поэт и государственный деятель. Наряду с Ли Бо и Ду Фу считается одним из величайших поэтов Китая всех времен.

** Цзедуши — высокий административный пост, соответствующий европейскому генерал-губернатору.

В отличие от лирики Юань Чжэня, почти не издававшейся на русском языке, «Повесть...» пользовалась большей популярностью. Однако, несмотря на уже имеющиеся переводы новеллы и, соответственно, включенных в ее текст стихотворных произведений, вниманию читателей хотелось бы предложить еще одну версию перевода «Встречи с Совершенной» на русский язык. Главной задачей переводчика в данном случае была не только попытка избежать фактических ошибок, допущенных предшественниками, и наиболее точно передать поэтический китайский текст с точки зрения содержания и формы, но и воспроизвести неповторимое настроение, создаваемое стихами Юань Чжэня. Для этого была сделана попытка оставить все основные словообразы на тех же местах, которые они занимают в тексте оригинала, или, по крайней мере, в тех же строчках. Строчки не меняются местами в переводе, и слова не переставляются выше или ниже по тексту. Особенное внимание уделяется передаче понятий, связанных с цветом, в частности, со световым его аспектом, поскольку многие оттенки настроения Юань Чжэнь передает, используя именно насыщенную светом цветовую палитру. Количество ударений в строке соответствует количеству иероглифов в оригинале. С точки зрения формы оды переводчиком было сделано только одно изменение — при авторской рифмовке исключительного четных строк (в оригинале 30 рифм) для лучшего восприятия русского стиха первая и третья строчки каждой строфы в переводе также рифмуются.*

На оконную занавесь лунные блики ложатся.
Светляков тают искры в пустынной лазоревой мгле.
Облака высоко в небесах начинают сгущаться,
И деревья листву погружают во тьму на земле.

Дуновенье дракона витает в бамбуке у дома,
Голос феникса в ветвях дриандра¹ певуч и глубок,
Дивный шелком белесым струится туман невесомый,
И звенит драгоценной подвеской ночной ветерок.

В небе пурпурный жезл Сиванму² — встречи вестник условный,
Юный отрок из свиты ее в облаков серебре³.
Полночь сердце тоскою томит и печалью безмолвной,
А рассвет наступает — и дождь моросит на дворе.

Ярким жемчугом блещут узоры на туфлях расшитых,
Лентой пестрой дракон среди цветных притаился шелков,
Чудный феникс крыла разбросал по заколки нефриту⁴,
И вплела нити радуга в тонкий накидки покров.

*
Ее перевод, выполненный О.Л.Фишман, публиковался четыре раза — в сборниках «Танские новеллы» 1955 и 1960 гг., «Гуляка и волшебник» 1970 г. и «Классическая проза Дальнего Востока» 1975 г. (все четыре издания московские). Обширные стихотворные вставки в первых трех изданиях были переведены соответственно С.Ботвиником, И.Голубевым и В.Марковой. В четвертом воспроизведен текст третьего с небольшими исправлениями.

Говоришь: из обители вечных⁵ твой путь пролегает,
Появиться в лазурном дворце⁶ приближается срок.
Был в дороге я. Северной города Ло⁷ проезжая,
У фамильного терема Сун вдруг свернул на Восток.

Я с тобою шутил, и ты шуткам стыдливо внимала.
Сердца мглу разогнал нежных чувств нарастающий пыл.
Ты головку склонила — и тень от сверчка⁸ задрожала,
Отступила — и пылью нефритовой снег закружил⁹.

Ты лицо повернешь — и расстелятся снежные волны.
Нагота твоей кожи атласов тончайших нежней¹⁰.
Утка с селезнем¹¹ шеи сплели, счастья близости полны,
И предался любви зимородок с подругой своей¹².

Брови черные сводишь смущено в красивом изломе,
Краску губ твоих страсти расплавил томительный зной.
Воздух свеж. Аромат орхидей разливается в доме,
И сияет во мраке твой трепетный стан предо мной.

Обессилена жаром любви, шевельнуться не можешь,
Наслажденья и неги сковала тебя пелена.
Капель пота роса, словно жемчуг, сверкает на коже,
И волос перепутанных гладь изумрудно-черна.

Лишь успели познать вожделенную радость свиданья, —
вдруг ударов конца пятой стражи¹³ донесся приказ.
Как тяжел и исполнен тоски горький миг расставанья,
Как прочны узы сердца, навеки связавшие нас!..

Скорби тень на прелестном лице ты старательно скрыла,
Клятв высоких признанья душевной полны чистоты.
Наших судеб единство — в кольце, что ты мне подарила,
Знак союза сердец — тот клубок, что оставила ты.

Щек белила смывает слеза на зеркальную темень.
Притаилась цикада от лампы, поблекшей вдали¹⁴...
Буйству красок угаснуть во тьме не пришло еще время,
А зари восходящей лучи снова небо зажгли.

Я верхом на коне в город Ло возвращусь издалека,
Сун¹⁵ вершины достигну, на флейте играя в пути.
Платье помнит еще аромат твой, пьянящий и легкий,
И полоска увядших румян на подушке блестит.

Зелень буйную дамбы рассеянным взором окинув,
К травам, ветром влекомым¹⁶, в мечте устремляюсь своей.
Журавлиною песней аккорды заплакали циня,
И на млечном пути виден стал острый клин лебедей.

Пересечь очень трудно равнину бескрайнего моря.
Сколько вверх ни стремись — не изведаешь неба глубин.
У седых облаков нет приюта в лазурном просторе,
И грустит Сяо Ши¹⁷ среди высоких покоев один.

Примечания

¹ *Дриандр (гриандра)* — тунговое дерево [*Eleococca chinensis*]. Распространен в тропиках и субтропиках Южной и Восточной Азии и на островах Тихого океана. 5 видов. В Китае древесина тунгового дерева благодаря своей исключительной прочности использовалась в строительстве как материал для колонн. В китайской мифологии различные фантастические птицы предпочитают дриандр как место для отдыха и пения. В данном случае речь идет о виде феникса, называемым Луань. Это птица с красными перьями, прилетающая с горы Нойчуань. На ней любят путешествовать даосские бессмертные. Интересно, что данный образ оказывается связанным с понятием замужества, в частности, дух брачной радости называется Хун Луань, а выражение «чзе луань» (улететь на фениксе Луань) означает как «сделать ся даосским бессмертным», так и «выйти замуж».

² *Сиванму (или Цзыму)* — в древневековой мифологии женское божество, хозяйка Запада, обладательница снадобья бессмертия. Вероятно, образ Сиванму воспринимался китайцами в разные эпохи по-разному. Первоначально, в «Шань хай цзине» («Книге гор и морей», IV — II вв. до н. э.), Сиванму имеет устрашающий вид, клыки и хвост, владеет небесными карами и пятью наказаниями. В «Жизнеописании сына неба Му» («Му тяньцзы чжуань», датируется неопределенно: от 4 в. до н. э. до 4 в. н. э.) Сиванму изображается уже утонченной красавицей, владычицей Запада. В средневековой даосской традиции и фольклоре Сиванму — прекрасная небожительница, хозяйка рая бессмертных на горе Куньлунь, воплощение женского начала инь.

³ Эта фраза может также значить: «С пурпурным жезлом сопровождаю Сиванму и с чистой душой обнимаю нефритового мальчика — ее слугу», но такой вариант менее убедителен. Пурпурный жезл, который нес посланник, оповещая о приближении именитой особы. Юный отрок из свиты ее — имеется в виду «нефритовый мальчик», слуга-небожитель, сопровождающий Сиванму.

⁴ Большая заколка для волос в том или ином виде присутствует во всех описаниях Сиванму. В «Книге гор и морей», в разделе «Си цы сань цзин» говорится, что «...В растрепанных волосах [Сиванму] торчит заколка-шен». Эта же заколка присутствует и на изображении Сиванму на каменной плите входа в Инаньскую гробницу (пров. Шаньдунь). Изо бражение датируется II в. н.э. На средневековых картинах Сиванму изображали красивой молодой женщиной в придворных одеждах, также с заколкой на голове, правда, форма заколки менялась с течением времени, в зависимости от типа костюма, свойственного той или иной эпохе.

⁵ Имеется в виду своеобразный рай бессмертных (сянь) на горе Куньлунь, владычицей которого является Сиванму. В этом саду растут персики бессмертия. В него все бессмертные съезжаются к Сиванму на торжества, и она поведает ими, награждает и наказывает. Также у Сиванму хранятся и все списки бессмертных.

⁶ *Лазурный дворец* — очевидно, здесь — дворец Юй Хуанди, нефритового императора. В даосской и средневековой народной мифологии Юй Хуанди — верховный владыка вселенной, которому подчинены земля, небо и подземный мир. Он управляет также всеми божествами и духами. По некоторым версиям, Юй Хуанди живет во дворце на горе Юйцзиншань.

⁷ Имеется в виду Лоян.

⁸ Символ чистоты. Во время династии Хань китайцы украшали цикадами головные уборы в знак непорочности.

⁹ *Снег* (нефритовая пыль) — в китайской поэтической традиции символ чистоты.

10 Ввиду отсутствия однозначной трактовки данной строчки в авторском тексте здесь приводится описательный перевод, по мысли и настроению соответствующий варианту Юань Чжэня.

11 *Утка с селезнем* — чета уток-мандаринок в китайской художественной традиции является символом супружеского счастья.

12 *Зимородки* — символ любви и верности.

13 *Пятая стража* — время суток между 3 и 5 часами утра. Вечерние и ночные часы в старом Китае делились на 5 двухчасовых отрезков (7 — 9 вечера — 1 стража, 9 — 12 — вторая и т. д. до 5 утра). Время пятой стражи соответствует в традиционном китайском обозначении третьему циклическому знаку двенадцатиричного цикла или знаку тигра.

14 *Лампа* (особенно ярко горящая) — один из распространенных в китайской литературной традиции поэтических эротизмов, обозначение присутствия активного мужского начала.

15 *Сун* — название средней священной горы в провинции Хэнань, одного из пяти священных пиков гор Суншань и Цзиншань. В китайской мифологии гора Сун является жилищем небожителей.

16 Очевидно, имеется в виду полын, гонимая ветром — в китайской поэтической традиции образ бесприютности. Однако эту же строчку можно понимать так: «Думаю о Пэнлае — острове бессмертных». В даосской мифологии Пэнлай — самый знаменитый среди островов бессмертных, своеобразный даосский рай (всего насчитывается 36 небесных пещер и 72 счастливые страны, играющие в даосских мифах роль райской обители). Имел ли в виду Юань Чжэнь именно Пэнлай или первый вариант перевода данной строчки является правильным — сказать сегодня определенно практически нельзя. Есть вероятность того, что автор специально выбрал форму, чтобы у читателя рождались ассоциации сразу с двумя распространенными в китайской поэзии образами.

17 *Сяо Ши* — легендарный игрок на флейте, благодаря своему искусству женившийся на принцессе и улетевший с ней на фениксе (цит. по Китайско-русскому словарю п/р Палладия и П.С.Попова, Пекин, 1888 г.). Упоминается в даосском трактате «Ле сянь чжуань». Сяо Ши так искусно играл на флейте, что мог своей музыкой подражать пению феникса. Дочь циньского Му-гуна Нунюй также любила игру на флейте и прекрасно играла сама. Они поженились и спустя много лет вознеслись на небо: Нунюй на фениксе, а Сяо Ши — на драконе.

Перевел и примечаниями снабдил Александр Сторожук

Карлсбад

Ходил с кн. Репниной к Д-г. Сагго. Он все и всех обращает к своему Карлсбаду и в нем сосредоточивает весь мир. Такие люди и нужны, чтобы ничто не пропадало на свете.

П. А. Вяземский. Старая записная книжка

Михаил Ивин

ИЗ ДАЛЬНОЙ ДАЛИ

— Бабуля, а бабуля, а ци есць за Гомелем людзи?

— Есць, миленький, и людзи есць, и бульба есць.

Хоць гробненькие, але есць.

ШАЛАШ В САДУ

Я родился на юге Белоруссии, незадолго до Первой мировой войны, в Полесье. В нашем крае в ту пору, в начале века, было много лесов, озер, чистых речушек, болот.

С малых лет мы без взрослых уходили в лес, брали грибы, объедались разной ягодой; бегали на речку купаться, удили окушков и плотвичек. Бояться нам было нечего и некого. Мы знали, какие растения несъедобны, например, волчья ягода, мухоморы, поганки, и к ним не прикасались; чужие люди в наши места не заглядывали, а свои, здешние, нас не обижали, не пугали.

Семья жила в бревенчатом доме, крытом дранкой. В России такой дом называют избой, в Белоруссии — хатой. Стояла наша хата особняком, поодаль от села. Даже в сильные морозы в нашем жилище было тепло. Дядьки, срубившие хату, проложили между бревен мох, не пропускающий вовнутрь холодный воздух.

Чуть ли не всю переднюю горницу занимала в доме громадная печь. В ней мама выпекала большие круглые ржаные хлебы, а в праздники и булки, готовила еду. Зимой в печи грели в чугунах корм для коровы. Низ печи занимал подпечек. Когда уж очень донимали морозы, в него загоняли кур.

Чугуны и горшки ставили в печь ухватом. Хлебы мама сажала в печь и вынимала оттуда деревянной лопатой. Детям запрещали пользоваться ухватом. Он вроде бы прост, но и с хитрецей. Не имея сноровки, сделаешь неверное движение — и кувырк, горшок опрокинут, под печи залит варевом, а семья осталась без обеда. Тебе, понятно, взбучка.

Хата наша стояла возле большого плодового сада. Владел им помещик. Днем и ночью сад сторожил бородатый мужик, обутый в лапти, вооруженный хворостиной, по имени Хведар. Был он на самом деле совсем не страшный, а только очень хитрый.

Дел у дядьки Хведара хватало: собирать падалки, ловить воришек, заделывать лазы в заборе.

В нашей семье было четверо мальчуганов. Насовсем отучить нас лазать в помещичий сад, пока мы не подросли, Хведару так и не удалось. Но он своею хитростью многого добивался.

Набеги на сад мы совершали то днем, то вечером, едва стемнеет, то гуртом, то в одиночку. Перемахнуть через забор или оторвать снизу доску и пролезть в дыру труда не составляло. Наши сверстники из ближнего села тоже наведывались в сад. Каждому охота отведать антоновку и пепин, грушу сапаянку, вишню, сливу, в окрестных деревнях сады держали только самые богатые мужики. У тех, что победнее, земли было мало. Да и труда надо положить очень много, чтобы выходить плодое дерево...

Случалось, что Хведар, обходя сад, застигал кого-либо из нас на яблоне либо на груше. Тут уж не убежишь, надо слезать и сдаваться бородачу. Но мы не очень пугались. Разве что было стыдновато. Мы знали, что будет дальше.

Изловив воришку, Хведар не то что хворостиной, пальцем его не тронет. Даже не бранится, а впоследствии и родителям не пожалуется. Взяв воришку за руку — отнюдь не за шиворот! — сторож приводит его в свой шалаш, где кучама лежит, источая ароматы, все, что в саду поспело.

Ну, а дальше начинается самое интересное. Хведар усаживает тебя, будто ты к нему в гости пришел, и угощает всем, что перед тобой лежит, приговаривая: «Ешь сколько влезет! А ежели душа и брюхо больше не принимают — с собой возьми... Э, у тебя кишеня-то одна, да и то мала. Запомни — идешь в сад, большую кишеню иметь надо... Ну, не беда, рубашонку съемешь, мешочек добрый из нее выйдет».

Уходишь из шалаша с набитым животом, да еще и с полным мешочком; ну и с нечистой совестью. С неделю, а то и дольше, к саду не подходишь. А Хведару того и надо...

Иногда я приходил к Хведару просто так, через калитку. Особенно уютно было у него в шалаше в ненастную погоду. К аромату яблोक примешивался запах кулеша — полусупа, полукаши, который старик варил в котелке на печурке. Очень хотелось поночевать в шалаше. Дядька Хведар разрешил бы — скучно ведь было ему проводить дни и ночи одному. Но за такую провинность меня бы дома нещадно выпорол.

ПЫЛАЮЩИЕ УШИ

Это повторяется неизменно каждый раз, стоит нам с мамой появиться в доме у бабушки-дедушки. Дед, усадив меня на колени, усердно принимается трепать мои уши, изредка заламывая их, не очень сильно, но до боли. По голове не поглядит, руки заняты, доброго слова не скажет. Только всего и ласки, что уши драть.

Бабушка и мама не смеют за меня заступиться. Деду ни в чем нельзя перечить. Только однажды, когда он, натешившись, вышел в конюшню, бабушка привлекла меня к себе и, разглядывая мои горящие уши, сказала, обращаясь к маме:

— Собака, кошка — и те не выносят, когда у них трогают уши. А тут ребенок.

Я терплю, молчу. Наверное, потому, что знаю: если не зареву, то дед потом поведет меня колесо смотреть.

Как-то, при нас с мамой, к деду приехала из дальнего местечка редкая гостя с внуком Изей, моим одноклассником. Дед давай и ему уши разминать. Тот заорал что есть мочи: больно и обидно, ведь он не успел еще ни в чем провиниться!

Дед молча ссадил крикуна с колен и повернулся ко мне:

— Пойдем, Мейшке, на мельницу. А этот пускай остается, мне такие сморкачи не нужны. Бабушка, дай ему что-нибудь вкусное...

Мы шагаем к реке. Стоит ранняя осень, тихая, теплая, бездождная. На дедовой мельнице завозно. Вдоль мощеной жердью гребли, почти до нашего дома, что в полуверсте отсюда, стоят в ряд возы, кони запряжены и пущены, с веревочными путами на передних ногах, в лесок попасться.

Дождаться своей очереди мужикам приходится двое, а то и трое суток. Многие приезжают на мельницу всей семьей, с харчами, конечно. Никто не ропщет, не слышно перебранок, здешние дядьки, да и женки ихние, миролюбивы. И спешить особенно некуда: на полях убрались,

озимые посеяны; за скотиной, если вся семья на мельнице, соседи присмотрят.

В телегах мешки с рожью, пшеницей, гречкой, просом, а также тюки тонкой домотканной шерсти. Зерно у деда смелют; просо и гречку обрушат; шерсть обратят в плотное сукно, сваяв его в ступах с горячей водой, чтобы из него можно было пошить на зиму свитки.

С дедом здороваются — «Дабрыдзень, Хацкель!» Его знает вся округа. Помещик да мельник — тут первые лица.

У реки коротенькое уютное название — Ипа. Она спокойно петляет среди полей, покосов, перелесков, вставая на дыбы лишь у дедовой плотины. При ней огромное, далеко видимое окрест колесо, сбитое из крепких досок и приводимое в движение силой падающей с плотины воды.

Издалека кажется, что колесо крутится нехотя, очень медленно. Но вот и мы с дедом подошли к нему близко. Я замираю от страха и восторга. Дощатый помост дрожит под ногами, брызги белой пены долетают до лица. Колесо будто вот-вот сорвется и умчится вниз по реке, оставляя за собой вспененные водовороты. Кружится голова, тянет шагнуть к самому краю неогражденного зыбкого помоста. Но дед, крепко держа мою руку, уводит меня к жерновам, где мне совсем неинтересно.

Детям, без взрослых, возбраняется ходить на мельницу и, тем более, подходить к колесу. Да и вообще дед не терпит, чтобы кто-либо из его близких болтался без надобности у реки. На мельнице есть еще наемные рабочие, человека два-три. Семья тоже при деле. На конюшне, в коровнике, на птичнике, в большом огороде всем дело найдется. Хозяйство у деда, помимо мельницы, большое, хотя пашенной земли и сенокосов у него нет. Евреям закон возбраняет, кроме огорода, владеть землей. Зато есть у деда лошади, даже выездные, коровы и всякая иная живность, за вычетом свиней, конечно.

У деда и бабушки шесть сыновей и три дочери-красавицы. Старшая из них, Ита, моя мама. Младшая, Хася, уродилась золотоволосой и голубоглазой. Сыновья, как на подбор: рослые, сильные. Сам дед, рано песедевший, сохранил статность и на недуги никогда не жаловался.

На мою маму и ее сестер заглядывался, как я слышал потом, сам помещик Ванин, приятель деда, а также богатые шляхтичи — так называли проживавших в Полесье поляков. Один из них, глядя вслед проходившей мимо тете Хасе, прищелкнув языком, сказал однажды:

— Жидов не терплю, але жидовочек дуже кахаю...

Старший из дедовых сыновей, это было еще до моего рождения, уехал в Америку. Из Миннеаполиса от него шли письма. Однажды из конверта выпала газетная вырезка, на которой был изображен молодой человек, играющий на скрипке. В письме пояснялось, что это сын дяди Залмана, окончивший музыкальную школу и настолько успешно концертирующий, что о нем даже в газете написали.

Другой дядя, Самуил, следуя примеру брата, тоже отправился за океан. Но спустя года два принужден был вернуться, повинувшись приказу деда. Всю свою долгую жизнь Самуил потом жалел, что не решился послушаться отца.

Из его американских впечатлений мне запомнился рассказ о том, как он однажды попал в полицию.

А дело было так. Встреченная им на улице женщина, оступившись, выронила сумку, из которой выпали какие-то свертки. Самуилу это показалось забавным, и он, приостановившись, чисто по-дикарски рассмеялся. Разъяренная женщина крикнула полицейского, и дядя мигом очутился в участке. Там ему долго втолковывали (он плохо владел английским), что он обязан был помочь женщине собрать покупки, а не идиотски хохотать.

НЕВЕЗУЧИЙ

Со мной постоянно что-нибудь случалось.

Болезни, падения, ушибы, даже переломы. Это уж как водится. Но бывало и вовсе немислимое...

Мне тогда было года три. Не все запомнилось, понятно. Однако произошло это на глазах у моей мамы. И позднейшие ее рассказы подтверждают подлинность события.

Мама в своих молитвах неустанно повторяла потом: «Мой Бог, как мне благодарить тебя за то, что Ты спас мне ребенка?!»

Летний день. Мы с мамой у деда-бабушки. Взрослые — кто в огороде, кто на конюшне, кто у кухонной плиты. Про меня ненадолго забыли, и я, как был в коротенькой рубашонке, выхожу один на дорогу. Постоял чуток и заковылял к реке. Туда, незадолго до меня, ушел дед.

И вдруг сзади — мычание. Подошла корова. Мне ничуть не страшно, она такая же, как наша Ласка, которая никогда меня не обижает: мама даже позволяет мне подходить к ней во время дойки.

Корова, похожая на Ласку, обнюхала меня, жарко дыхнув в лицо, и отправилась дальше, но за ней появилась другая, третья, десятая — не счесть, очень-очень много коров. Каждая меня обнюхивает и обходит. Я уже не то сижу, не то лежу, задыхаясь от пыли.

До меня доносится крик мамы, она меня зовет. Но откликнуться я не могу, а коровы идут и идут.

Что было дальше — не запомнил...

Дополняет мама.

Стадо шло на водопой. Пастух увидел белую рубашонку издали, но сделать уже ничего не смог. Коровы, быки, волю, почуяв воду, плотной массой, мыча, ревя от нетерпения, устремились к реке.

Мама, тетя Гита и тетя Хася, не найдя меня ни в доме, ни на усадьбе, метнулись к дороге, по которой стадо уже текло сплошной лавиной, окутанной облаком пыли.

Мама готова была ринуться в этот живой поток, но ее остановил окрик пастуха:

— Стойте! Не вылазьте на греблю, спужаете скотину. Чакайте, покуль усе не пройдут!..

...На мне не обнаружили потом ни единой царапины, ни единого синячка. Меня долго отмывали, отпаивали теплым молоком. Спустя какой-нибудь час я уже бегал по двору.

Что меня спасло тогда, если отвлечься от еврейского Бога? Ведь стадо могло — должно бы, по идее! — просто затоптать белый комочек, лежащий на пути. Быки ведь, не задумываясь, бросаются на людей, нередко их калеча, да и коровы бодливы бывают.

Быть может, скотина малого жалеет? Не доводилось мне ни видеть, ни слышать от кого-либо, чтобы корова или бык покалечили младенца.

А может статься, животные просто из опаски обходили скрюченный белый комочек, не схожий ни с двуногими и ни с какими другими созданиями?..

Иное дело — свинья. Побывав у нее в зубах (было мне тогда уже года четыре), я убедился, что она страшнее, опаснее всех других домашних животных. Правда, я сам — виновник передрыгги, едва не стоившей мне жизни.

Однажды близ нашего дома появилась свинья с поросятами. Я уже успел уяснить, что свинья — самое нечистое из всех животных и что есть свинину евреям запрещено. В те времена этот запрет строжайше соблюдался. Еврей мог, как это делал мой отец, тайком от окружающих выкурить

в субботу папироску, что тоже возбраняется. Но отведать свинины — упаси Бог!..

И вот — сработала привитая неприязнь — схватив палку, я что есть силы ударил поросенка по задку. Он пронзительно завизжал, волоча задние ножки — они у поросят слабенькие. Свинья тотчас прыжком свалила меня с ног и принялась грызть, а не то чтобы укусить и тем ограничиться, как это бывает с собакой, которую дразнишь.

Наших дома не было. Случился поблизости вышедший во двор сосед, акцизный чиновник. Он стал кричать, махать руками, но вплотную к свинье не подступался, и она продолжала свое дело.

На крик выскочила жена чиновника. Прихватив стоявшее у двери помело, она кинулась к свинье и стала тыкать ей в морду колючие хвойные ветки, привязанные к концу палки. Свинья отступилась, женщина подхватила меня на руки и передала маме, успевшей добежать с дальнего конца огорода.

Я долго помнил имя моей спасительницы, но, к стыду своему, потом запмятовал его, не удосужившись записать. Это была веселая женщина, дружившая с моей мамой.

А вот образ акцизного чиновника утвердился в моем сознании как олицетворение трусости и ничтожества...

Меня отвезли в больницу.

— Вам очень повезло, — сказал доктор маме, — ребенок мог погибнуть, со свиньей шутки плохи. Это ведь не собака, та цапнет разок, если ее заденешь, и тем дело кончится... Побудьте у нас с ребенком, у него ведь шок. А руку мы быстро залечим.

Не прошло и года после нападения свиньи, как я снова оказался в той же больнице.

Дело было поздней осенью. Мама и старшие братья пошли копать картошку. Дул ветер, накрапывал дождик, и мне, во избежание простуды, мама велела посидеть дома с тетей Хасей, пришедшей к нам. Но едва тетя отвлеклась, занявшись какими-то своими делами, как я выскользнул из дома и отправился к своим в поле. Делянка была недалеко.

— Сейчас же отправляйся домой! — велела мама, увидев меня, — на тебе же ничего не надето.

Я, заупрямившись, не двигался с места. Мама подобрала отрывок ботвы, намереваясь хлестнуть меня. Пятясь от нее, я споткнулся и упал навзничь на борону, кем-то брошенную, по недомыслию, зубьями кверху...

Принимал меня в больнице тот же доктор, что и в прошлый раз.

— Невезучий он у вас, — сказал он маме, — Борона железная?.. Ну, да, зуб вошел в мякоть бедра довольно глубоко...

ПЕРВАЯ АКТЕРСКАЯ РОЛЬ

Дядя Арон, красавец, покорявший сердца вдовиц и солдаток, мастак был придумывать разные забавы, но не всегда безобидные.

Как-то я, при старших братьях и Ароне, рассказал историю про Алеся, хромого помещичьего сторожа. Неподалеку от нашего дома стоял хлевушек Алеся. В нем он держал свинью. И вот однажды...

Сторож приходит в хлевушек, открывает дверь, а свиньи-то там и нет. «Ах ты, растуды и растак твою мать!» — закричал сторож.

Дядя Арон аж пополам сложился от хохота. И решил превратить крошечный, но весьма выразительный мой рассказец в некое представление. Выбрав время, когда в доме собралось много мужчин, а дед был в отлучке, дядя вывел меня за руку на середину круга, уговорив слово в слово повторить рассказ про Алеся. Все, что я услышал, я должен был произнести полностью. И Арон показал мне двугривенный:

— Хорошо все скажешь — он твой.

Успех был полный. Двухэтажная матерщина, услышанная из уст четырехлетнего мальчугана, произвела сильнейшее впечатление. Взрослые дяди хохотали, тискали меня.

А двугривенный, зажатый в кулачке, Арон у меня выманил, сказал, что берет займы и непременно вернет.

Не вернул...

Представление повторялось несколько раз, причем каждый раз в отсутствие деду. Войдя в роль, ободренный успехом, я матерился все более уверенно и бойко. И каждый раз дядя повторял свой фокус с двугривенным: вручал мне его и тут же брал займы, забывая вернуть.

А спросить я, конечно, стеснялся.

Так и пропала первая заработанная мною денежка.

Мать и бабушка, узнав про Ароновы проделки, конечно, на него набросились. Но поди вразуми взрослого человека, который уже успел, повоевав недолго с немцами, уволиться из армии по ранению.

И лишь угроза пожаловаться деду на то, что Арон развращает его любимого внука, вынудила дядю прекратить свои представления.

А вообще дядя Арон был часовщик. И, наверное, весьма умелый. Надежная профессия давала ему и его семье всю жизнь достаток.

Постигал он ремесло в славном Гомеле, который был для нас столичным городом. Туда и учиться, и лечиться отправлялись те, кто побогаче.

С Гомелем связано и первое из зароненных в память воспоминаний. Я — на коленях у матери, мой рот — в крике, и какой-то дядя, весь в белом, дует мне в горло из трубки.

Мама потом рассказывала:

— У тебя был дифтерит. И я тебя бы потеряла, если бы не этот гомельский врач. Деньги на дорогу и на врача дал твой дед Хацкель...

Туда же, в Гомель, дед в свое время отвез подростка Арона, сдав его в учение и на полный кошт лучшему часовщику города.

Приемы обучения у мастера, по рассказам дяди, были нешуточные.

Задание — собрать из разложенных на столике в определенном порядке деталей часовой механизм. Наставник рядом, в правой руке его молоточек на тонкой длинной рукоятки. Малейшая ошибка, не то колесико зацепил пинцетом, или что иное — удар молоточком по руке. Да не просто по руке, а по косточке, без промаха. Искры из глаз. И — молчать...

Дядя Арон чинил любые часы, допотопные и новейших марок, наручные, карманные, настенные. Отказов не случалось. Любой часовой механизм может и должен ходить. Такого девиза Арон придерживался всю жизнь, а прожил он более восьмидесяти.

Его знали все жители окрестных сел, у кого водились часы. И уважительно называли — Арол, то есть орел. Мужики верили своему Аролу, и редко кто спрашивал, что за порча в часах (часовщики вообще не любят тратить время на подобные объяснения). Арон никогда не говорил — «починю часы». «Сделаю часики», «надо сделать часики» — это был его профессиональный язык. Платили ему, конечно, спросит, не торгуясь, до 1917 года большей частью деньгами, а в разруху только натурой — яйцами, живыми курами, мукой. В ту пору и врачи так брали — за выезд к больному, к примеру, стоимость трех пудов муки...

Арон однажды, когда я уже куда как повзрослел, рассказал, как он отделался от настырного дядьки, который непременно хотел бы знать, почему его ходики остановились.

— Ну что, что? Стрелка зацепила за маятник — вот что!

— Зразумев, зразумев, дзякуй табе, Арол...

И дядка выложил полтора десятка яиц...

Дядя Арон подолгу жывал у нас в семье. Маму он устраивал. Ей одной не справиться было с четырьмя мальчуганами, проделки которых непредсказуемы. Отец наш мало бывал дома. Он держал лавку в местечке, в шести верстах от нас. В его отсутствие в ней приходилось сидеть его сестре или матери.

Дядя Арон исполнял в доме роль воспитателя. Точнее сказать — эзекютора.

Порол он розгами, конечно. Березы, благо, близ дома росло много. Порол весьма добросовестно. Непременное требование — обнаженная задница, а не то что там — постегать по голым ногам.

Много лет спустя я узнал (и написал об этом в одной из своих книг), что московский купец Иван Ильич Вавилов, отец будущих двух академиков, порол своих отпрысков ремнем, не снимая с них штанишек. Этой оплошностью родителя пользовался старший сын, Николай. В предвидении порки он засовывал под штаны плотную картонку. Этому приему он научил и младшего брата, Сергея.

Дядя Арон такого не допускал. Если кто-нибудь из старших моих братьев пробовал оказать сопротивление, то он, придавив ноги наказуемого коленом, сдирал с него штаны.

Как самый младший из четырех братьев, я порке обычно не подвергался, с меня хватало увесистого маминого шлепка. И лишь однажды решено было, не упомяну за что, вспять розги и мне.

Дядя Арон, приготовив орудие порки, велел мне оголить задок и улечься ничком. Я безропотно исполнил приказ. И дядя, поразмыслив минуту, вдруг раздумал меня сечь.

— Раз ты такой послушный, — сказал он, отложив розги, — то я тебя прощаю. Вставай, натягивай штаны и больше не озоруй...

Меня потом, в моей долгой жизни, унижали множество раз, всего и не упомнишь. Но это первое унижение засело в памяти навсегда. Старшие братья меня этим даже не дразнили, но я отчетливо запомнил: опозорен, унижен за послушание...

Спустя многие годы я попытался восстановить в памяти дяди Арона, уже старика, этот случай.

— Неужели ты думаешь, что я мог запомнить такой пустяк? Ты ведь сам говоришь, что я тебя простил. А у тебя, видишь ли, обида осталась! Нет, ты все это выдумываешь, вы, не работающие руками, все придумываете, это ваш хлеб...

ТУМАННЫЕ КАРТИНЫ

Дом помещика Ванина стоял недалеко от дедовой мельницы. К нему прилегал сад, тот самый, куда мы бессовестно лазали.

Между соседями, как сказал бы дипломат, сложились взаимовыгодные отношения. Помещик, естественно, пользовался дедовой мельницей и крупорушкой. Дед, не имевший своего сада — земли хватало только для огорода, — покупал у Ванина оптом яблоки, груши, сливу, вишню. Все это хранилось в обширном погребе. И бабушка, пользуясь запасами, наваривала с помощью дочерей столько разного варенья и компотов, что хватало с избытком до следующего лета.

Покупались также в имении на убой то бычок, то телка, то баран. Куры, гуси, утки были свои. Ну и, само собой, дед покупал сено для лошадей и коров — покосов, как и пашенной земли, он тоже был лишен.

Но, не без этого, возникали в отношениях между соседями и сложности. Постигал я их по мере взросления, слушая разговоры взрослых.

По левому берегу Ипы, выше плотины, лежали помещицьи заливные луга. После спада пойлой воды на них разрастались укусные травы. Скот на таких лугах не выпасают, трава идет на сено.

Заливные луга целиком во власти реки. Большой паводок — много сена возьмешь; малый — сена меньше. Владелец испокон веков примерялся к ритму, заведенному природой. Дед со своей плотиной — тоже.

С весны до осени плотина открыта, река на волю пушена. Да и не к чему воду держать, завоза в эту пору нет. Если и объявится какой шальный мужичонка с двумя мешками ржи — дед для него одного не станет поднимать воду да жернова запускать: дождись осени, нет муки — займи у соседа.

Закрой дед плотину в июле — считай, сенокоса не будет, река на луга бросится как в паводок. А если придержат воду сразу после покоса — вода унесет скошенное, поминай как звали.

А вот осенью, когда сено сметено в стога, поставленные, до санного пути, на подложки, вода уже не навредит.

Все же владельцу заливных лугов не следовало ссориться с мельником. Наступи этому Хацкелю на любимую мозоль, он, чего доброго, под видом ремонта закроет плотину, когда сено еще даже не скопнили. И тогда — корми всю зиму коров и лошадей покупным сеном. А это — чистое разорение.

С тем помещиком, которого мы знали, дед ладил. Ванин младший, не в пример покойному своему отцу, был покладист. А его родитель в строптивости мельнику нисколько не уступал. По рассказам, дед однажды не то пригрозил Ванину старшему сплавить сено, не то и в самом деле закрыл во время сенокоса плотину...

Ежегодно по окончании полевых работ Ванины устраивали дожинки. На лужайке перед помещичьим домом собирались жители окрестных деревушек. Никаких речей, понятно, не произносилось. Предлагали угощение — конфеты, пряники. Помещица, за глаза ее называли Ваниновой, выставляла в открытое окно громадную трубу граммофона и заводила пластинки; девки и молодцы водили хоровод, распевали песни.

В отличие от дородного мужа, Ванинова была отменно стройна. Особенное изумление вызывала у баб ее осиная талия. Я однажды на дожинках, куда мы с мамой ходили, подслушал, как молодайка вполголоса, посмеивалась, говорила своим подружкам:

— Гляньце, яка яна танюсенька, яе ж барин ночку у пасцели перела-маць можа.

Я потом спросил у мамы, для чего Ванину надо переламаывать Ванинову, да еще ночью в постели, когда спят? Мама прикрикнула на меня:

— Не слушай и не запоминай глупостей.

Последние дожинки, на которые мы с мамой были званы, состоялась, когда уже шла мировая война. В наше захоlustие доходили покамест лишь ее отзвуки. Заголусит на все село молодка, получившая весть о гибели мужа. Все меньше остается в деревнях молодых мужиков да хлопцев.

Ушел на фронт и дядя Арон.

Ну, а здесь, на дожинках — все те же гостинцы, хоровод.

Только на этот раз Ванинова под конец позвала гостей в дом. Большую залу набили битком. Все стояли, с недоумением и любопытством разглядывая большую простынь, повешенную на торцевую стенку залы. Ванинова велела прислуге задернуть шторы на окнах и провозгласила:

— А сейчас мы вам покажем то, что вы никогда еще не видели — туманные картины! Механик, начинай!

Сзади затрещал какой-то аппарат, и все ахнули — на простыне задвигались люди, экипажи, собаки...

Это все, что осталось в моей памяти от первого в моей жизни киносеанса.

ни никогда не было велосипеда, ни детского, ни взрослого, я так и не научился пользоваться им доселе. На лыжи я впервые встал, когда мне исполнилось лет двадцать. Настоящих коньков мы даже и не видывали; катались на одном самодельном деревянном подобии конька, подбитом куском толстой проволоки; скользишь на нем малой скоростью, отталкиваясь свободной ногой.

Лишь по отрывочным рассказам взрослых мы знали, что существуют такие зрелища, как цирк и театр.

Но истинным для меня лишением было отсутствие книг. Как и когда я стал читать — мне уже не вспомнить. Но и в том возрасте, когда осиливают азбуку, я букваря в глаза не видывал. И долго, когда я после хедера уже ходил в светскую школу, я не мог толком запомнить, какая буква в алфавите за какой следует: где-то после «с, т» я начинал путаться. Не стыжусь в этом признаться — азбучную премудрость я усвоил полностью от «а» до «я», лишь когда стало нужным постоянно прибегать к словарям и энциклопедиям.

Однажды кто-то занес к нам в дом и оставил надолго сборник басен Ивана Андреевича Крылова. Возможно, что по этой книжке, отпечатанной крупным шрифтом, с картинками, я с помощью старших и научился читать?

Неплохая, в таком случае, замена букваря!

Некоторые басни я затвердил наизусть. Особенно полюбилась мне «Ворона и лисица». В моем сознании ворона запечатлелась надолго как глупая-преглупая птица — глупее не бывает. Лишь повзрослев да наслушавшись рассказов орнитологов и охотников, я уразумел, что умнее вороны трудно сыскать кого-либо в птичьем царстве.

И вот поди же ты — ведь в басне ясно выражена мысль, что лезть действует не только на глупых. Неспроста ведь Иван Андреевич выбрал для доказательства сей истины умнейшую из птиц...

Страсть к чтению овладела мною еще до того, как я пошел в школу. Читать хотелось с годами все больше, а вот учиться — поменьше...

Лет мне уже было около девяти, когда в мои руки попала великая книга.

В наших играх принимал участие, правда, редко и неохотно, сын местного учителя, Петя, он же Петрусь. Был он бледен, худ и неактивен. Я знал, что в доме учителя много книг, и попросил Петруся дать мне что-нибудь почитать. Он не сразу согласился, но после моих настойчивых просьб вынес мне книгу в твердом переплете. На обложке был изображен очень худой длинный всадник, вооруженный копьем и щитом.

— Сервантес — «Дон Кихот», — прочел я вслух и, поблагодарив Петруся, обрадованный, помчался домой. Понятно, что я дотоле не слышал ничего ни об авторе, ни о его книге. Но я впервые держал в руке толстый том, да еще с таким замечательным рисунком.

Мама, лишь мельком взглянув на обложку, спросила, кто дал мне книгу. Услышав ответ, сильно встревожилась:

— Сейчас же отнеси книгу обратно! Скажешь — я не велела это читать. И никогда в тот дом не ходи, ничего у них не бери, не проси. Петрусь очень болен, ты можешь заразиться. Что стоишь — беги! Вернешься — вымой руки с мылом.

Расстаться с такой книгой, не прочтя ее! Это было свыше моих сил. Выскочив из дома, я, вместо того, чтобы бежать к Петрусю, укрылся за поленницей и принялся читать. Я знал, что мама вот-вот уйдет надолго в огород.

Вылез я из укрытия, спрятав книгу в дровах, лишь когда мама, воротясь домой, покликнула меня обедать.

— Ты руки мыл? — спросила она, едва я вошел на кухню.

— Мыл, конечно.

— Знаю я, как ты моешь руки. Пойдем к умывальнику, я вымою тебе лицо и руки теплой водой с мылом. Рубашку сними, я ее постираю.

Прочтя за поленицей, тайком, урывками «Дон Кихота» от корки до корки, что заняло недели две, я вернул книгу Петрусу, ничего больше не спросив. И не потому, что я убоялся заболеть (мне сказали, что у Петруся чахотка). Страшнее чахотки были для меня мамин гнев да розги дяди Арона...

Тысяча девятсот двадцатый год. Война с Польшей. Через Полесье прорываются с боями то наши, то не наши. Как-то в имении Ванина (самого помещика и его Ваниновой уже и след простыл) расположился на постой красноармейский полк. Сильно потрепанный, он был выведен в резерв на пополнение.

Политсостав полка, как водится, вел среди местного населения пропаганду. Конечно, больше всего доставалось Юзефу Пилсудскому, этому наймиту мирового империализма, командовавшему польской армией.

Политруки объявили, что все трудящиеся, в том числе и подростки, могут безвозмездно брать для чтения книги из полковой библиотеки, которая находится в бывшем помещичьем доме.

Конечно, я немедленно туда отправился. Библиотека расположилась в том самом зале, где я с замиранием сердца смотрел туманные картины, показанные Ваниновой на дожинках.

Выдавал книги молодой красноармеец, судя по выговору, украинец. Балакать со мной он не стал, а взял одну из лежавших перед ним на столе книг и протянул мне:

— Визми, мабуть гарно написано про якусь дивчину. Тільки прозвища у яе не наша — Нана.

Мама, спросив, где я взял книгу, на этот раз одобрила мой поступок.

— Читай, читай, только не замусоль страницы. Наверно, от Ваниновой книги остались.

Знала бы мама, что за «Нану» я принес в дом! Эмиль Золя — «Нана» — вот что подсунил мне полковой библиотекарь...

На этот раз я читал, не прячась за поленицей. Мальчик при деле, на глазах — не отрывается от книги. Мама довольна.

Когда я, спустя дней десять, возвращал книгу, к столу библиотекаря подошел какой-то большой начальник.

— Дай ка, хлопче, взглянуть, какую ты книгу брал.

Посмотрев, начальник переменялся в лице.

— Ты тут все прочел? — спросил он строго.

— Все — от начала до конца!

— А понял, что читал?

— Все понял!

— А отчего умерла Нана — понял?

— О чахотки, — выпалил я.

— Ну и ну, — начальник повернулся к библиотекарю, — ты давал мальчику эту книгу?

— Я, товарищ комиссар... Каму же яще?

— А ты знаешь, что читать ее можно только взрослым?

— Та видкиля ж я знав, що тая Золья понаписала?

— Золья, — поправил комиссар, — и он Эмиль, мужчина... А вообще, виноват тут, по правде сказать, и я. Недосуг мне было посидеть с тобой и отобрать книги для детей. Ну, мы сегодня же вечерком это сделаем... А тебе вот советую почитать «Детство» Льва Николаевича Толстого.

С тем он и ушел.

Библиотекарь, записав на меня книгу, сказал:

— Комиссар у нас даже ученый. В университете обучался.

«Дон-Кихота» я, конечно, перечитывал, повзрослев. «Нана» — нет, не удосужился. Содержание повести не ушло из памяти. Судьба падшей женщины, гибнущей от принятой мной за чашотку болезни, запечатлелась в сознании.

НОЧНОЙ НАЛЕТ

Ее почему-то называли гражданской, эту войну, хотя отнюдь не граждане ее затаили. Противогражданская — вот ее наименование. Ибо простым людям, кои суть граждане, кровавые игрища, дивившиеся три года, ничего, кроме смерти близких и разорения, не принесли.

С приходом ее, этой войны, в наши места, кончилось мое детство. Началось полугодное существование и каждодневное ожидание беды.

Не стало кормилицы Ласки. То ли ее обменяли на муку, то ли зарезали на мясо, не дожидаясь, пока сведут ее к походной кухне. Дяди с винтовками и без них опустошали огород — мамину гордость. Прежде лазали только по садам, но и то не взрослые, а малышня. Не доносилось даже квохтанья куры, снесшей яйцо.

Пошли хвори, которых прежде мы не знали. Я дважды перенес возвратный тиф; затем дизентерию; затем, кажется, испанку.

Выжил я, при отсутствии лекарств, думаю, потому, что с самых малых лет была во мне заложена крепкая жизненная основа.

...Подойв утром Ласку, мама принуждала меня выпить большую кружку парного молока. Для меня это было все равно, что принять касторку. Но попробуй откажись! Кроме того, в меня вливалось, иногда на дню дважды, сырое яйцо, теплое, взятое прямо из-под куры; а яблоки, груши, вишни, наворованные в саду Ванина или подаренные Хведаром; а помидоры, огурцы и всякая иная овощь из своего огорода; а ягоды, что мы собирали в лесу...

К зубному врачу я обратился впервые, когда мне уже было за сорок. Пожилой дантист, типичный еврейский балагур, осмотрев мою ротовую полость, вдруг сказал:

— Если бы мне дали власть, я вас положил бы в клинику на исследование, чтобы выяснить, откуда у вас такие замечательные зубы?! Да, да, откуда и почему? Ко мне ходят актрисы. Любая из них заплатила бы хорошую цену, чтобы поменять свои зубы на ваши!

В ответ я объяснил старику мой детский рацион, о котором сказано выше.

— Суду все ясно! — рассмеялся дантист. — Не надо клиники! Я поставлю вам, на всякий случай, пломбочку, совсем пустяковую.

...Мимо нашего дома, стоящего у дороги на отшибе, проходят на наступающие, то отступающие войска. Ни те, ни другие не оставляют нас без внимания. Это еще не грабители, те появятся потом. Простят то попить, то хлеба кусок. Нередко норовят схватить съестное без спроса.

Тревожная легняя ночь. Мы спим, лишь иногда пробуждаясь, когда возрастает шум. А мама, всю ночь не смыкая глаз, одетая, дежурит на кухне. До самого рассвета плетутся мимо наших окон, вне строя, вразброд, отступающие солдаты Пилсудского.

Вот двое из них, отодрав створку окна, норовят утащить с кухонного стола кусок хлеба, а то даже горшок с борщом, сваренным впрок на всю семью.

Мама, подбежав к окну, поднимает отчаянный крик: «Помогите, у меня четверо детей!»

Возникает чин, унтер-офицер или фельдфебель и, явно нехотя, отгоняет прочь воришек.

Но проходит новая рота и сцена повторяется.

Мама все же и на этот раз открычала свои горшки...

Тем голодным солдатам я, наслужившись в армии вдосталь, ныне могу посочувствовать. Где она там, походная кухня? Далеко сзади, а скорее даже впереди: тылы при отступлении снимаются первыми...

Но то речь об истинных солдатах. А в те годы появились в большом числе увешанные оружием люди, для которых первейшая солдатская заповедь — не воюй с безоружным — вовсе ничего не значила. Даже так: над теми, кто не в состоянии себя защитить — одерживать победы куда как сподручнее. Эти вояки шастали по тылам, не очень-то стремясь войти в соприкосновение с регулярными войсками противоборствующей стороны. Пограбить, посжигать деревни — это да...

Смутные времена порождают грязную накипь. Возникают личности, которым все едино, кому служить — лишь бы втиснуться на страницы истории.

Бэй Булах-Балахович. Зловеще звучащее имя мало что говорит в конце века не только молодым, но и людям почтенного возраста. Мне это имя не забыть. Я лицом к лицу столкнулся с балаховцами, как у нас называли вояк из его отрядов...

Послужной список Булах-Балаховича, пояснений не требующий.

В 1918 году вступил в Красную Армию, сформировав лужский партизанский полк. Но уже в ноябре того же года перешел на сторону белых, приняв участие в походе Юденича на Петроград. После неудачи Юденича определился на службу в Эстонии. И, наконец, перешел к полякам. Участвовал на стороне Пилсудского в Советско-польской войне. И еще долгое время после ее окончания остатки его отрядов учиняли в Белоруссии грабежи и погромы. Сам же Булах-Балахович обосновался в Варшаве, где, как сказано в Большой Советской энциклопедии, «убит неизвестным лицом» в 1940 году...

Ранняя осень 1920 года. В нашем доме на постое — красноармейцы, человек восемь. Расположились они на кухне. Спят вповалку. Харчи кое-какие у них есть, походная кухня невдалеке. Мы довольны: в тревожное время, когда вокруг шныряют то ли балаховцы, то ли им подобные, нас надежно охраняют. Семья наша — вся в сборе: мама, нас четверо, из которых старшему, Кушелю, уже минуло семнадцать, да еще дядя Арон с нами.

И вот — однажды ночью...

Несколько выстрелов близ дома. Через минуту — треск вышибленной двери и хриплый окрик: «Руки вверх! Ни с места, мать вашу... выходи по одному!.. Кто оружие тронет — сразу в расход!..»

Мы сбились в кучу, оцепенелые, возле мамы. Лишь дядя Арон копается у запасной двери, ведущей к саду Ванина. Пока бандиты разбирались с красноармейцами, дядя Арон успел вскрыть запасную дверь и, схватив Кушеля за руку, увлек его во тьму, успев только вполголоса бросить маме: «Тебя с детьми, наверное, не тронут...»

— А ну, кто есть там, сюды выходьте!

Это уже к нам — во тьму.

На пороге стоит верзила: в правой руке наган, в левой фонарь, поднятый над головой, через плечо — пулеметная лента. Так страшно не было даже в самом тяжком кошмарном сне.

— Выходи! — повторяет верзила, подняв наган.

Мама, прижав нас троих к себе, выходит.

— А взрослых жидов там нет? — верзила тычет наганом во тьму. — Ну, смотри, жидовка, если кого отыщем, и тебе мало не будет. Панасюк,

возьми кого еще и проверь. А ты, — он обратился к маме, — поведешь меня и вон того на чердак, свечку возьми. Пойдешь вперед, мало ли что... Жиденята пусть тут... не трогать их, малых не велено...

Минута кажется вечностью. Убьют маму на чердаке или пощадят? Но бандиты, как видно, очень торопятся. Они скоро возвращаются, и мама с ними. На этот раз она идет сзади.

Что пережила она, поднимаясь по внутренней лестнице со свечой в руке впереди громил? Она никогда об этом не говорила, на все вопросы отвечала коротким — «Не надо»...

На другой день после ночного налета мы, собрав кое-какие вещички, наняв подводу, уехали в местечко.

МЕСТЕЧКО

Одна-единственная, тесно застроенная длинная улица. Три синагоги — бревенчатые, обшитые тесом. В сторонке — имение, при нем парк.

Заболоченная вяло текущая речушка.

Так выглядело местечко Азаричи семь десятилетий с лишним назад.

Здесь я родился в семье лавочника. Отсюда меня увезли, еще грудным, к деду-мельнику на реку Ипу.

В двадцатом году семья, спасаясь от бандитских налетов, вернулась в Азаричи. Меня отдали в хедер, где я постигал премудрости иудейского вероисповедания.

К местечку притулилось белорусское сельцо. В общем-то они составляли одно поселение, сельцо и местечко. Но деревушка носила и свое, из дальней дали дошедшее, узаконенное название — Злодеевка. (Злодей — вор.) И хотя в сельце воры не водились, зловещее название, невесть когда и кем придуманное, нисколько не смущало его жителей. «Мы злодеевские», «мы из Злодеевки», — говорили они.

И в самой Злодеевке, да и во всем местечке, дома не запирали ни днем ни ночью. Воровать было нечего да и некому. Заезжие сюда не наведывались, от Азаричей до ближайшей станции железной дороги балагулы (извозчики) насчитывали верст двадцать.

В местечке было лишь несколько зажиточных семей. Это — лавочки, ездившие за товаром аж в Гомель и, естественно, имевшие постоянный доход из-за разницы в ценах. А в Злодеевке вряд ли можно было сыскать хоть одного обладателя сапог. В холодное время носили лапти, в теплое — ходили босиком...

Был еще в местечке балагул Гилька, известный на всю округу горлопан и редчайший среди евреев изощренный матерщинник. Он выезжал на паре одров, увозя на станцию редких пассажиров и доставляя оттуда столь же редких приезжих. Пользуясь луженой глоткой и большим набором матерных слов, Гилька с успехом отбивал седоков у другого местечкового балагула, которому нередко приходилось ездить порожнем. Полное имя Гильки (Гилель) мало кто знал. Гилька и Гилька...

В сельце же царил сплошная, исконная, извечная бедность, бедность, по выражению Льва Толстого, сама себя не сознающая, переходящая из рода в род. Просящих подаяние не водилось. Хлеб, щи, да и молоко были в каждой хате. Но если заводился в семье грош, и мальчугашка, зажав его в кулачке, прибежал в лавочку моего отца — купить булочку или несколько конфет, — это было уже событием.

В Злодеевке стояла церквушка — одноглазая, выложенная из красного кирпича. Как и все православные храмы, она занимала возвышенное вольное место, — видная издалека, указующая путнику направление. У меня возникало иногда смутное желание зайти внутрь храма. Но это было

совершенно невысказано. Как и невысказано было православному мальчугану заглянуть в синагогу. Между тем ни из церкви, ни из синагоги инверца вряд ли попросили бы удалиться, разве только если бы, скажем, в иудейский храм зашел человек без головного убора...

Злодеевские и местечковые жили обособленно, но не враждуют между собой. Бедны были и те и другие — из-за чего же враждовать? Не было вражды, не было и тесного общения. Смешанные браки исключались вовсе. Не припомню, чтобы местечковый юноша вздумал даже просто поухаживать за дзючиной из Злодеевки. Злодеевские парни тоже не пытались заводить дружбу с еврейскими девицами.

...В окрестностях дедова хутора бывало такое: сельские мальчуганы, повздорив с нами, отбегали на безопасное расстояние, чтобы уберечься от крепких кулаков моих старших братьев, и выкрикивали: «Жида пархатые, говном напхатые!» Застреля в памяти и такая скороговорка: «Жида, жида черти, кали б вам памерти — ды у суботу рана, ды пад плотом яма». (Плот — забор.)

От злодеевских мальчуганов, с которыми мы общались (а в игре чего не бывает — и ссоры, и потасовки), мы такого не слышали. Вероятно, объяснить можно это тем, что для них евреи были не в диковину...

Жители Злодеевки редко навещали в местечковые лавки. Соль, спички, колесная мазь — все копейные покупки. Изредка спрашивали гвозди. Мануфактуру не брали вовсе. Материя на штаны и на рубахи — домотканная, из своего льна; шерсть — от собственных овец. Портные да сапожники — тоже ни к чему.

Местечковые, особенно многодетные, прикупали у злодеевских картошки, чтобы накормить досыта всю ораву. Огороды же в местечке были у всех, да и коров держали очень многие. А вот сада не припомню ни одного, ни в местечке, ни в сельце.

Главный доход местечку приносили обитатели тех сел, где лавок не было вообще и где люди жили побогаче, чем в Злодеевке. В воскресные дни местечко заполняли селяне и селянки.

Кто жил поближе — добирался пешком, кто подальше — запрягал лошадей. Для многих посещение местечка в базарный день служило и развлечением. Селянки в своих цветастых андараках (андарак — панева) обходили все до единой лавки, а их насчитывалось десятка полтора, прицениваясь, ощупывая ткань, разглядывая ее на свет.

В субботу, понятно, лавки не открывали. А в будни покупатели были редки.

Почти каждый местечковый житель, за вычетом раввина, разумеется, имел прозвище. Оно прилипало к человеку и произносилось вместе с именем, служа приставкой к нему. Иногда прозвище обозначало род занятий человека, к примеру, — Янкель-сапожник; иногда же носило обидный характер, подчеркивая, скажем, дурную привычку. Запомнилось труднопереводимое, рифмованное — Меер, почесывающий мошонку.

В разговоре прозвище, добавленное к имени, позволяло сразу уразуметь, не выясняя фамилии, о ком идет речь. Например, Борухов в местечке было много, а Борух-часовщик один.

Моего отца звали Хаим-лавочник. Он и в самом деле держал лавку, полученную по наследству. Ничего обидного вроде. Но мне стало казаться, когда я подрост, что прозвище выбрано не без лукавства. Отец был едва ли не самым неудачливым в местечке лавочником. Дело у него шло абы как — видно, душа его не лежала к торговле.

Он любил пофилософствовать, любил посидеть с книгой. Своих книг у него не было, брал где придется. Что он читал — не припомню.

Философствование и чтение книг трудно совместимы с торговлей. Хочешь, чтобы лавка приносила хоть какой-то доход, — не отвлекайся: вертись, крутись, выгадывай, придумывай.

Будучи дальнзорким (это, равно как и пристрастие к чтению, я унаследовал) и не имея очков, отец садился за чтение на свой лад. Книгу он держал в вытянутых руках, а перед собой, близко к лицу, ставил свечу либо лампу.

Отец был совестлив, добр и беспечен. Такие в жизни не преуспевают.

В местечке к нему относились хорошо. Тому немало способствовало и то, что он обладал редкой способностью производить в уме очень быстро самые сложные арифметические подсчеты. Его умение особенно ценили женщины, сплошь неграмотные — в местечке считали излишним учить девочек читать, писать, производить на бумаге арифметические действия.

То и дело к отцу являлись женщины с одной и той же просьбой:

— Хаимке, батюшка, сделай мне расчет!

Не прибегая к карандашу и бумаге, отец почти мгновенно производил деление, умножение, вычитание любых чисел.

В наши дни про него бы сказали: живая вычислительная машина; во всяком случае, действующая быстрее арифмометра...

Выходя замуж, мама, видимо, прельстилась умом, начитанностью, остроумием жениха. Молодые поселились в домике отца, где он проживал с матерью и сестрой.

Со свекровью и золовкой мама ладила. А вот с мужем начались ссоры. От беспечности отца, лишённого житейской хватки, мама, выросшая в семье, где царил иной уклад, буквально взрывалась. Однажды, при мне, когда мы жили уже на хуторе, мама ударила отца во время ссоры скалкой.

А дети рождались своим чередом. Религиозные устои не допускали уклонения от супружеских обязанностей. Народилось пятеро — четверо мальчиков и девочка, умершая еще до моего рождения — она была второй.

В конце концов мать уехала на дедов хутор, забрав с собой нас всех четверых. Дед приискал для семьи дом недалеко от мельницы. И пошла иная жизнь, о которой я уже рассказывал.

О разводе мать поначалу не помышляла, по обычаям еврейской общины это было почти немислимо. Отец, на правах главы семьи, жил у нас подолгу на хуторе, отлучаясь, чтобы проведать мать и сестру; на их попечение осталась вовсе пришедшая в упадок лавка. Главным товаром в ней теперь стала неизменная бочка с колесной мазью.

Мать взвалила на себя все хозяйство и воспитание детей. И если бы не помощь деда, то пришлось бы ей совсем худо.

И вот — не было бы счастья, да несчастье помогло. В наших местах, хоть и с опозданием, утвердилась советская власть. В числе прочего она уравнила женщину в правах с мужчиной. Бракосочетания и разводы теперь совершались гражданскими властями. Венчались, конечно, и православные и евреи, но власти эти обряды не принимали во внимание.

(Из местечковых обрядов меня более всего изумляло венчание. Оно происходило не в синагоге, а во дворе или на пустыре. Предпочтение отдавалось месту, где побольше мусора. Это — к богатству! Жениха, разодетого, конечно, ставили под багдахин, а невесту, в подвенечном платье, обводили вокруг жениха семь раз. На этом обряд венчания завершался, все шли пировать и плясать.)

Отец после развода стал появляться у нас редко, уже в качестве гостя. Мы, мальчишки, иногда проводывали его.

К местечковой бабушке я долго не мог привыкнуть, отстраняясь от нее, когда она привлекала меня к себе. Меня пугали ее усы. Да, у нее были седые усы. Ну, не такие, чтобы их можно было состричь, но такие, что

сбривают. Тетю, отцову сестру, я плохо помню, она была неприметна, оставшись девицей до конца своих дней.

Переехав с нами после налета бандитов в местечко, мать сняла домик внаем.

Между тем банды шныряли вокруг. И местечко вскоре заняло оборону.

ОБОЗ

Пинкус-печник провел мировую войну на передовых позициях. Его старейшины и назначили руководить обороной местечка.

Собрав отряд из молодых добровольцев, Пинхус вооружил их берданками. Разжился он даже станковым пулеметом, с которым умел управляться.

Раздобыть оружие в смутные времена нетрудно, а берданки и вовсе доставались задарма. Эта однозарядная винтовка состояла на вооружении русской армии с конца шестидесятых до начала девяностых годов прошлого века. Сконструировал ее американский полковник Бердан. Сменила берданку пятизарядная винтовка Мосина, отслужившая две мировые войны.

Мосинская винтовка проста и безотказна, но требует все же некоторой сноровки в обращении. Управляться с берданкой можно научить любого неопытного в пять минут: сунул патрон в патронник, прикрыл затвор и стреляй. Но скорострельность ее, особенно если берданку сравнить с современными автоматами, — уж очень мала.

Снятые с вооружения берданки хранились на оружейных складах, дожидаясь своего часа. Он и наступил после октября семнадцатого, когда стали расти, как грибы, нерегулярные воинские формирования — партизанские, а то и просто бандитские. Мосинских винтовок им не хватало, и пошли в ход берданки...

Пинхус наладил, по всем правилам, круговую оборону местечка, выставив круглосуточно посты. На ночь они удаивались. А на самом опасном направлении установили пулемет, у которого еженощно дежурил сам Пинхус, без смены, отсыпаясь у огневой позиции.

Бандиты, приученные к легкой добыче, избегающие риска, ни разу не отважились сунуться в местечко. Лишь однажды местечковым удалось пристрелять вооруженного участника шайки, видимо, посланного в разведку. От берданки ему бы, наверно, удалось уйти, но его настигла короткая пулеметная очередь. Убитый полдня лежал на берегу речки, и вся мальшняя, в том числе и я, бегала на него смотреть. Впервые, кажется, я, десятилетний, узрел тогда застреленного человека. Он лежал, скорчившись, будто уснул ненароком...

А вскоре местечку довелось убедиться, что не зря молодежь взялась за оружие.

Верстах в тридцати от Азарич, в большом селе, бок о бок с белорусами, издавно проживало десятка полтора еврейских семей. Кто торговал, кто сапожничал, кто портняжил, кто часы чинил. Обычные для черты оседлости занятия евреев, отлученных от земледелия. Раздоров, междоусобиц, распрей между белорусами и евреями не возникало. Отношения были такие же, как между азарическими и злодеевскими.

Евреи из того села наезжали в Азаричи — то за советом к раввину, то, по большим праздникам, на молебствие в синагогу. Хоронили покойников на местечковом кладбище.

...В Азаричи пришел из того дальнего большого села обоз. Обычные подводы, телеги застланы соломой.

И вдруг все местечко, словно по чьей-то зловещей команде, разразилось рыданиями. Плач, причитания женщин, вопли мужчин, вздымающих

руки к небесам, взывающих к всемогущему. Иные бежали прочь от возов, обхватив голову руками.

Обоз оцепили, детей к возам не подпускали. Но страшная весть дошла до нас почти мгновенно.

Дойдя в работе над книгой до этого места, я долго не мог заставить себя написать про обоз. Перо выпадало из рук, хотя, провоевав две войны, я всякого навидался.

...В телегах привезли хоронить останки всех до единого евреев, взрослых и детей, проживавших в том большом селе. На возах, прикрытые соломой, лежали даже не трупы, а части тел. У банды, налетевшей ночью на село, хватило времени, чтобы не просто умертвить всех, но и разрубить каждую жертву на куски.

Кто они были, те, что хуже палачей, нелюди, из самого ада присланные нечистой силой?

Я в состоянии написать лишь о том, чему сам стал свидетелем.

Мог ли кто предугадать в ту пору, что два десятилетия спустя, летом сорок первого, в Белоруссию вторгнутся вышколенные Гитлером дети тех вильгельмовских солдат, которые выглядели столь безобидно в восемнадцатом году? И что налетев на Азаричи внезапно, гитлеровцы, не мешкая, сгонят всех до единого евреев — и стариков, и женщин, и детей — не дав им опомниться, перестреляют, сбросив тела в одну яму?

Среди убитых в сорок первом в Азаричах был и Хаим-лавочник, производивший в уме всевозможные расчеты для всех желающих.

О чем думал мой отец, стоя под наведенным на него «шмайсером», в последние мгновения своей жизни? О том ли что по своей легковёрности не ушел на восток, полагаясь на то, что немцы — они те же, что в восемнадцатом? О том ли, что не достало ни времени ни сил уйти? ..

ХЕДЕР

До того, как мне в пионерском отряде привили заразу безверия, я чтил Бога, вознося ему затверженные молитвы.

Возсоздать что-либо куда как труднее, нежели порушить. Сужу по себе. Не могу утверждать, что отвергнув в зрелом возрасте воинствующее безбожие, я тем самым вернулся к Богу.

После переезда семьи в Азаричи я стал посещать синагогу, иногда с братом, иногда в одиночку. Отец бывал в синагоге нечасто, разве что по большим праздникам — йом-кипур, пасха. К неверующим я бы не стал его причислять, хотя он по субботам, тайком от жены и детей, покуривал. Думаю, что он попросту был равнодушен к обрядам.

А с мамами, бабушками, тетями мальчики в синагогу не ходят. Разве что до порога иногда вместе дойдут. Женщинам в иудейском молитвенном доме отведена галерка, откуда они могут созерцать и слышать все, что происходит внизу, в главном зале. Но пользоваться молитвенником женщины нашего местечка не могли, они были почти сплошь неграмотны. И на галерку им в подмогу подсаживали чтеца. Женщины повторяли за ним слова молитв. Однако мужчинам вход на галерку воспрещен, равно как и женщинам — в главный зал. И тут найден был выход! Чтеца с молитвенником усаживали загодя на галерке в бочку, подобно тому как суфлера в театре сажают в яму. Отгорожен, невидим, но его слышно.

В местечке бытовало поверье, распространяемое остряками и выдумщиками. Если мужчина вторгнется на галерку без надобности, не в качестве чтеца, то женщины вправе повалить его и помочиться ему в уши. Именно в уши! Уверяли, называли даже даты, что такое бывало...

Одна из азаричских синагог стала первой моей школой. В пристройке к этой синагоге помещался хедер, начальная религиозная школа, куда меня и моего брата Юду определили, когда семья обосновалась в Азаричах.

...В большой комнате с низким потолком стоит длинный узкий стол. Вдоль него, с двух сторон — скамьи. Во главе стола — стул для меламеда (учителя), он же ребе. Вот и вся мебель хедера.

За столом, на скамьях, друг против друга, рассажены два десятка мальчиков разного возраста, приблизительно от восьми до двенадцати лет. Перед каждым — раскрытая книга. Читают все разом вслух, и в комнате стоит несмолкаемый гул.

Здесь вовсе не учат детей писать, это предоставлено отцам. Тут — чтение священных книг с переводом текстов на идиш с иврита.

Но если бы мы изучали только библейское Пятикнижие Моисея с его самобытной образностью и захватывающими сюжетами! А то ведь мальчишек принуждали зубрить толкования Торы, сиречь — средневековые религиозно-этические философские тексты. Вероятно потому ничего из того, чему учили меня в азаричском хедере, я не запомнил. Забыл даже начисто иврит — это уж потому, что не приходилось им пользоваться впоследствии. Застряла почему-то в голове лишь коротенькая фраза на этом древнейшем языке, в переводе означающая: «И взошло солнце».

Мы просиживали в душном помещении хедера весь день с несколькими недолгими переменками, иногда до восьми вечера. Какой желанной была для нас суббота, день полного узаконенного безделья, когда нельзя даже спичку зажечь либо построгать палочку, а не то что дровину расколоть! Что уж говорить о пасхе! Неделя ничегонеделания.

Чему учили — плохо помню, зато наш тогдашний учитель стоит передо мной, по прошествии трех четвертей века, как живой.

Вот это была личность!..

Собирательный образ меламеда: пожилой, с бородкой, нацело погруженный в талмуд, оторванный от житейской суеты. В дедовой семье про человека, не приспособленного к повседневным заботам, говорили с оттенком пренебрежения: меламед. Вероятно, из моего отца, если бы ему не досталась лавка, вышел бы хороший учитель.

В хедерах телесные наказания были общеприняты. Но хороший ребе ими не злоупотреблял. Если меламед отвесит тебе иногда подзатыльник либо дернет за ухо — так о чем тут говорить? Пожалуйешься дома — ребе дерется! — тебе, скорее всего, еще добавят.

Когда в азаричском хедере перед нами впервые предстал наш ребе, то подумалось: ну, этот драться не станет. Молод, даже юн, говорят — только что кончил духовную семинарию, ешибот; пейсы и бородку еще не успел завести. В первые дни он даже улыбался иногда.

Вскоре мы уразумели, что у нашего ребе и повадки совсем иные, нежели у других местечковых меламедов, о которых мы знали по рассказам сверстников, обучавшихся в других хедерах.

Задав нам урок по книге — прочесть вслух и перевести доселе — он закуривал. Это был особый церемониал. Свернув крохотную закрутку, ребе вынимал из коробка спичку и перочинным ножичком аккуратно раскалывал ее на две половинки — одну зажигал, вторую оставлял про запас. Иногда он даже пробовал из одной спички сделать три. Это нас особенно изумляло: спички продавались повсюду. Покуривая, он аккуратно заодно выщипывал волосинки на подбородке. Как видно, он из бережливости к парихмахеру не ходил, а бороду ему покамест не хотелось отпускать.

Притом ребе забывал о своих прямых обязанностях. Время от времени он прохаживался вдоль стола, то с одной, то с другой стороны, останавливаясь и пригибаясь, чтобы услышать, верно ли читает тот или иной

мальчик. При малейшей ошибке, в чтении или переводе, следовал удар сдачи — короткий и как будто не сильный.

Меня ребе поначалу не трогал — я был до противности прилежен. И я изумлялся — почему любой из моих сверстников, получив несильный удар, обалдевал и даже пускал слезу. Но вот ребе и меня как-то стукнул, и я на какие-то секунды вообще отпал: удар наносился ребром ладони в висок и, видимо, был хорошо отработан.

Меламед, чувствуя свою полнейшую безнаказанность, действовал методично и хладнокровно. Ведь пожаловаться никто не посмеет и сдачи, тем более, не дадут.

Но однажды произошло неслыханное...

Ребе, остановившись возле моего брата Юды, услышал какую-то неточность в его чтении и нанес удар. И Юда, мгновенно выскочив из-за стола, пошел на меламеда с кулаками наперевес.

Мой брат был самым рослым и самым сильным в нашем хедере и робостью он не страдал, но такого никто и от него не ожидал. Поднять руку на ребе!

Мы замерли. Стало непривычно тихо в шумном хедере.

Ребе отпрянул. Затем, не произнося ни слова, вернулся к своему стулу. Сел и, так как дело шло уже к вечеру, спокойно объявил, что занятия на сегодня окончены.

Мы с Юдой пришли домой с таким видом, будто ничего не произошло, хотя понимали, что можно ждать большого скандала.

Однако, на другой день занятия прошли как обычно. С одной поправкой: к моему брату ребе, ни в тот день, ни в последующие, не подходил, словно Юды тут и не было.

Вот такой был ребе. Разве его позабудешь?

НА ЧЕРДАКЕ

Весь день дождит. Осень пришла. После хедера мы с Зямой, вместо того, чтобы поразмяться с помощью городков либо лапты, забираемся, пользуясь приставной лестницей, на чердак его дома. Там сухо, уютно, от печного стояка веет теплом. Слышно, как по крутой драночной крыше ниспадают струйки дождевой воды.

О чем могут говорить и чем могут заняться двое мальчишек девяти и восьми лет, уединившись так, что ни подглядеть их действия, ни подслушать их разговоры никто не может?

О, это большой секрет! Но за давностью времени я могу его, хоть и не полностью, разгласить.

Мы с Зямой сидим в хедере бок о бок и давно дружим. Я старше его на два года и уверен, что о запретном знаю больше, чем он. И тут дело не только в возрасте. Он сын уважаемого человека, старосты синагоги, габая, и в их семье при детях никогда не обсуждают то, что полагается знать только взрослым. Да и вообще выросшие в местечке мало о чем осведомлены. Мое же раннее детство прошло среди деревенских хлопчиков. Они-то уж не чета местечковым, они про все запретное знают — взрослые мужики, особенно на подпитии, при детях не очень стесняются...

Усевшись на чердачную балку, я первым делом расстегиваю штанишки, извлекая на свет свои писпирирку. Зяма следует моему примеру. Теребя наши пиписки, мы обсуждаем жгучий вопрос: только ли для писа они предназначены? Не при их ли помощи дети рождаются?

Есть прямой повод для обсуждения столь важной темы. Все местечко уже знает, что восемнадцатилетняя Лея, сестра Зямы, просватана за Пинхуса, сына ювелира и часовщика. Пинхус недавно кончил гимназию и теперь учится у отца, перенимая его профессию.

Через неделю назначено вечание. И уже решено, Зяма это знает, что у молодых будет ребенок. Не придумали еще только — мальчик или девочка.

Но отчего же рождаются мальчики и девочки? Мне это известно доподлинно. Пипирка, конечно, уже большая, не такая маленькая, как у нас с Зямой, не только для писа. От нее и происходят дети.

И я объясняю Зяме, как это все происходит.

Но у него несколько иное представление. Да, все так, как я говорю. Но подобное происходит лишь у совсем темных неграмотных мужиков.

— А как же появится ребенок у твоей Леи и Пинхуса?

— От любви! только от любви! — восклицает Зяма с жаром. — Ты понимаешь, у них же любовь, любовь!

Я пытаюсь его вразумить.

— Дурачок ты, вот что я тебе скажу. Вот послушай, как все будет. После венчания и свадебного ужина Лея и Пинхус уйдут в свою комнату, разденутся и лягут вместе. Лея будет внизу, Пинхус — на ней. И он...

И тут Зяма, сжав кулаки, вдруг бросается на меня, в глазах у него слезы:

— Как ты смеешь так говорить про мою сестру! Я тебе всю рожу побыю... От любви, только от любви у них будет ребенок... И моя мама мне так сказала, я ее спрашивал...

Завязывается драка. Зяме достается больше, и он с плачем убегает с чердака. Я неторопливо, с видом победителя, спускаюсь следом за ним и ухожу домой.

Теперь дружба наша кончена. Он попросит у ребе разрешения сесть от меня подальше.

Ну и пусть...

Я нередко вспоминал стычку на чердаке. Но чем старше я становился, тем менее радовала меня та победа.

За свою долгую жизнь я совершил не один дурной поступок. Иные из них и припоминать неохота.

Но тогда, на чердаке, мною совершена была двойная подлость. Я побил дружка, который был моложе и слабее меня. А главное — я безжалостно, тогда не сознавая этого, конечно, разрушил его детские, бесхитростные, романтические представления.

Дети рождаются только от любви. Как это здорово!

МАРУСЯ

У нее светлые волосы, заплетенные в косички с бантиками на концах. На ней чистое отглаженное платье. Будто вот-вот сошла она с картинки в детской книжке, которую Маруся иногда выносит напоказ.

Она внучка старого, известного в округе лекаря. Его все называют доктором, хотя по должности он фельдшер. Он лечит всех от всего и лекарства выдает за спасибо, не спрашивая денег. Кто может — заплатит и без спроса, а то притащит живую куру, либо даже визжащего беленького порося.

Моя мама дружит с семьей доктора. И Марусе дозволено со мной играть. Ее бабушка и мама знают, что я не драчлив, а если иногда произношу не те слова, то лишь при мальчиках. А в таких наших затеях, как набеги на помещичий сад, купание и хождение в лес без взрослых, Маруся не участвует.

Мне с ней вдвоем хорошо!

Вот мы носимся наперегонки вдоль частокола, огораживающего усадьбу Марусиного деда.

— Хочешь зирнуть, как я с забора прыгну?!

— Хочу! А ведь ты убьешься? — без всякой тревоги, скорее с любопытством, отзывается Маруся.

— Не убьюсь, тут земля мягкая!

Частокол — едва ли не в три моих роста. Цепляясь руками и босыми ногами, быстро достигаю верхней перекладины, становлюсь на нее, придерживаясь за них.

— Гляди, Маруся, прыгаю!..

Очнулся я в доме старого лекаря. Возле меня мама, сам доктор и его семья. Маруся стоит в сторонке, напугана, но не плачет.

Мне хочется сказать, что если бы не скамейка у забора, об которую я ударился рукой... Да, да, виновата скамейка... Но от нестерпимой боли я могу только кричать.

— Перелом локтевого сустава левой руки, — доносится до меня, словно издалека, голос лекаря. — Гипсовать надо — от кисти до плеча. Мне одному не управиться, да и гипса у меня почти не осталось. Везите его, Ита, в Азаричи поскорее... Надо попросить Рыгора, чтоб запрягал, у него, кажись, лошадь во дворе. А то — пока еще до пастбища кто добежит...

В больнице меня держали, должно быть, с неделю. Отправляя домой, все тот же доктор наказывал маме, чтобы не позволяла мне бегать. Возможны падения. И чтобы через какое-то время меня привезли снимать гипс...

Дома, едва дождавшись ухода мамы в огород, я ринулся на волю.

Маруся ждала меня у того самого частокола. Потрогав боязливо гипс, она спросила — не больно ли. Я сказал — нисколечки! — и мы понеслись.

В первый день я упал только однажды. Потом еще и еще. Маме за мной было не уследить: корова, огород, гадящие куры, гуси. Я ускользал от нее, бегал с Марусей, падал. И от гипса, в конце концов, мало что осталось. Марусин дед, осматривая мою руку, недовольно хмыкал и сказал, что локоть сросся, но, скорее всего, останется раздвоенным. А ехать в Азаричи уже незачем.

Старый лекарь все предвидел. Локоть мой раздвоен доселе, левая рука чуточку короче правой, что не мешало мне выполнять физическую работу. Трижды я со своим этим локотком подвергся призыву в вооруженные силы, отвоевал две войны — и хоть бы что.

Наша дружба с Марусей продолжалась. Потеряли мы друг друга из виду уже будучи подростками, когда семьи разъехались.

И не там ли, в дальнем детстве, берет начало стойкий мой интерес к светловолосым женщинам, не вполне утраченный донныне...

И еще — о двух встречах с Марусей.

В начале тридцатых годов в Ленинграде, близ Мальцевского рынка, я столкнулся с рослой светловолосой девушкой.

— Маруся, ты! — почти заорал я, глазам своим не веря, но не страшась ошибки.

— Это я! А это ты?! — она рассмеялась, протягивая мне руку.

..Дед скончался в конце двадцатых, после чего они с бабушкой и мамой, продав дом, переехали в Ленинград. Маруся, окончив школу, поступила в Первый медицинский; через два года кончает... Нет, еще не замужем, успеется. Пригласила зайти к ним, сказала адрес.

А у меня в кармане лежала военкоматская повестка.

— Понимаешь, меня призвали в армию. Через час мне надо явиться на сборный пункт. Сразу отправят куда-то в часть.

— Отслужишься, приходи!

А я и адрес не записал, понадеялся на память...

Ранняя осень сорок первого года. Немцы, заблокировавшие Ленинград, уже выпустили по нему первые снаряды. Я, новоиспеченный лейтенант, корреспондент армейской газеты, вооруженный полевой сумкой и нага-

ном, шагаю по нечетной стороне Невского в сторону Московского вокзала. Прохожих немного. Немец постреливает. Снаряды рвутся, видимо, невдалеке от Владимирского собора, с тем трескучим грохотом, который вызывают резонирующие каменные стены и твердые мостовые. Разрывы нечасты. Это так называемое огневое наблюдение. На углу Троицкой улицы переходит проспект в сторону «Титана» русоволосая женщина в распахнутом песочного цвета плаще.

— Маруся, ты?

— Ох, ты! — выдохнула она, учащенно дыша от быстрой ходьбы.

— Ну, зайдём хоть в нашу подворотню. Я живу вот тут, в угловом доме.

Типичная питерская подворотня — уютная, глубокая, с двумя входами в квартиры. Разрывы тут немного приглушены.

— Почему ты не эвакуировалась, Маруся?

— Я ведь кончала хирургический. Работаю поблизости, в Куйбышевской, практика у нас, сам понимаешь, богатая. Вот притащилась после суточного дежурства.

— Муж есть?

— Да. Он тоже медик. Где-то на западном направлении, в медсанбате. Уже месяц нет вестей. Но я считаю, что он есть... Ну, что мы стоим. Ты может быть, зайдёшь?

— Маруся, опять не судьба. У меня кончается сегодня командировка, а до части сорок километров на попутках добираться.

— Ещё раз командируют — приходи! Квартира три.

Мы обнялись. Она первой поцеловала меня в губы.

Спустя две недели — та же подворотня. На этот раз у меня в запасе полдня и ночь.

Поднимаюсь на второй этаж. Звонки не действуют, долго стучу. Наконец, открывает пожилая женщина в теплом халате.

— Марию Семеновну?.. А вы кем ей приходиться?.. Друг детства? — Молчание. Кажется, оно длится бесконечно. — Убило ее, нашу Марию Семеновну. Снарядом — прямо возле Куйбышевки. Из больницы приходили — полевую почту мужа спрашивали.

— Извините, до свидания...

Иду по Невскому, и в голове только вот это нелепое «извините».

Зачем, почему, отчего?..

ЛЕСНАЯ ЛАНЬ

От переводчика

Мари-Катрин Ле Жюмель де Барневиль, баронесса, а не графиня, как ее чаще всего называют, родилась в небольшом поместье Барневиле, неподалеку от Бург-Ашара (Эр), по одним сведениям, в 1650, по другим — в 1651 году. Она прожила необычайно бурную жизнь: чтобы описать перипетии ее беспокойной судьбы, не хватило бы одной книги. Ее основные произведения: «Записки о поездке по Испании», опубликованные в 1690 году, за которыми последовали «Мемуары об испанском дворе», принесшие ей «если не уважение, которого ее поведение не заслуживало, то преимущества, сопутствующие таланту и успеху. Далее следуют: «Мемуары о французском дворе» (жанр, процветавший в конце семнадцатого века, скорее романтический, нежели исторический) (1692) и «Мемуары об английском дворе» (1695), «Тайные мемуары о вельможных принцах» (1696), новое издание «Грузинки Комиски» (1699), и, наконец, роман «История Ипполита, графа Дугласа», некоторое время пользовавшийся большой известностью и успехом, как о том свидетельствуют многочисленные переиздания. Но не в романах ярче всего проявилось дарование мадам Д'Онуа, и не романы стяжали ей самую большую славу, а «Новые сказки», или «Модные феи», опубликованные в 1698 году Барбеном, 3 тома в 1/12, которые в итоге постоянных прибавлений, продиктованных успехом, составили в изданиях 1725 и 1742 годов 8 томов в 4 книгах в 1/18. Именно этим сказкам, пережившим все крушения, мадам Д'Онуа, милая очарованным ею детям и более взрослым читателям, которые не гнушаются забавами, обязана своей скромной известностью.

Мадам Д'Онуа скончалась 14 января 1705 года в возрасте приблизительно пятидесяти четырех лет в своем доме на улице Сен-Бенуа. Ее отпевали в церкви Сен-Сюльпис.

И. Нинова

Жили-были в согласьи король с королевой. Они нежно любили друг друга, и подданные их обожали, одного только не хватало для полного счастья и тем, и другим: не было у королевской четы наследника. Королева, убежденная, что будь у них сын, то король любил бы ее еще больше, каждой весной непременно ездил пить чудодейственные целебные воды. Народу на этих водах собиралось великое множество, и можно было там повстречать чужестранцев со всех концов света.

Пили воды в большом лесу из источников, выложенных мрамором и порфиром: всяк ведь почитал за честь их украсить. Как-то раз, сидя на берегу источника, королева попросила всех своих дам удалиться и оставить ее одну. И начала она свои обычные сетования.

— Как же я несчастлива, — причитала она, — оттого, что нет у меня детей! Есть они и у самых бедных женщин, а я вот уже пять лет прошу у неба ребенка, но оно не внимлет моим мольбам. Неужели я умру, так и не изведав радости материнства?

© И. Нинова

И когда она это говорила, она вдруг заметила, что вода в источнике замутилась, а потом оттуда вынырнула огромная черепаха и сказала ей:

— Великая королева, ваше желание наконец исполнится. Знайте, что здесь неподалеку высятся великолепный дворец, построенный феями, но вам его не найти, потому что он окружен густыми тучами, сквозь которые не проникнет взгляд смертного. Однако я, ваша смиренная слуга, проведу вас туда, если только вы согласитесь довериться бедной черепахе.

От удивления королева слушала молча: то, что черепаха может говорить человеческим голосом, было для нее большой неожиданностью. Затем она ответила, что будет очень рада принять ее предложение, только вот ползти черепашиным шагом она не умеет. Черепаха усмехнулась и тотчас превратилась в пригожую старушку.

— Хорошо, госпожа моя, — сказала старушка, — будь по-вашему, не поползем по-черепаши, но главное, чтобы вы считали меня своим другом, ведь я желаю лишь того, что пойдет вам во благо.

И она вышла из источника совершенно сухая. Было на ней белое платье с малиновой подбивкой, а волосы ее были перевиты зелеными лентами. Свет еще не видывал такой нарядной старушки. Старушка поклонилась королеве, та поцеловала ее в ответ, а затем, к немалому удивлению королевы, старушка, ни минуты не медля, повела ее по лесной дорожке, которую королева, сколько раз она ни ходила здесь, никогда прежде не замечала. Обычно эту дорожку скрывали от глаза заросли колючего кустарника и терновника, но едва на нее ступили королева и ее провожатая, как на розовых кустах распустились розы, жасмин и апельсиновые деревья сплелись верхушками, и над головою у них раскинулся навес из цветов и листьев, земля покрылась фиалками, а на ветвях, одна заливистее другой, защелбегали сотни птиц.

Не успела королева прийти в себя от изумления, как взору ее в своем несравненном великолепии открылся алмазный дворец: и стены, и крыши, и потолки, и полы, и лестницы, и балконы, и даже террасы — все там было алмазное. Не в силах сдержать восхищения, королева громко вскрикнула и спросила нарядную старушку, не пригрезилось ли ей все это.

— Все нет, госпожа моя, — ответила старушка.

В ту же минуту двери дворца распахнулись, и оттуда вышли шесть фей, но фей таких красивых и так пышно одетых — таких королева никогда прежде не видала в своих владениях. Они по очереди склонились перед королевой в глубоком реверансе, и каждая преподнесла ей цветок из драгоценных камней, так что получился у нее букет, в котором были роза, тюльпан, анемон, колокольчик, гвоздика и цветок граната.

— Королева, — сказали феи, — мы позволили вам прийти сюда во дворец, и это, как ничто другое, говорит о нашем глубочайшем почтении к вам; к тому же мы рады известить вас о том, что скоро у вас родится прекраснейшая принцесса, которую вы назовете Желанная: ведь вы не можете не признать, что она вам давно желанна. Как только она появится на свет, непременно позовите нас, потому что мы хотим наделить ее всевозможными достоинствами: возьмите в руки букет, думая о нас, и скажите вслух название каждого цветка — не сомневайтесь, что мы тотчас будем у вас в покоях.

Королева, не помня себя от радости, бросилась им на шею и обнимала их добрых полчаса. Затем феи пригласили ее зайти во дворец, такой красивый, что и не описать словами: ведь возводил для них этот дворец зодчий солнца, и был он точным подобием дворца на солнце, только поменьше. Глаза королевы едва выдерживали весь этот ослепительный блеск, и она то и дело жмурилась. Феи повели ее в свой

фруктовый сад: там росли абрикосы величиной больше, чем с голову, и вишни, которые можно было съесть не иначе, как разрезав их на четыре части, — красоты необыкновенной и такие вкусные, что королеве уж никогда не хотелось никаких других после того, как она их отведала. Показали ей и сад из искусственных деревьев, которые распускались и цвели как живые.

Не берусь рассказать, как восторгалась наша королева, сколько она говорила о маленькой принцессе Желанной, как она благодарила милых фей, которые сообщили ей столь радостную весть, а скажу лишь, что ни единое слово нежности и признательности не было ею забыто. В речах своих королева сполна воздала должное фее Источника и пробыла во дворце до самого вечера: она любила музыку, и ей пели голоса, как казалось королеве, небесные; а потом она получила множество подарков и, еще раз поблагодарив фей, вернулась домой вместе с феей Источника.

Все домочадцы королевы ужасно за нее беспокоились: ее везде искали в большой тревоге, совершенно не понимая, куда же она пропала; даже боялись, что ее похитили какие-нибудь дерзкие чужестранцы — ведь была она молода и красива — и все бурно радовались ее возвращению, а сама королева, исполненная добрых надежд, рассказала о происшедшем так мило и остроумно, что у близких ее окончательно отлегло от сердца.

Фея Источника проводила ее до самого дома, а когда они прощались, начались нежности и любезности пуще прежнего; королева провела на водах еще неделю и не преминула еще раз посетить дворец фей вместе со своей кокеткой-старушкой, которая всегда появлялась под видом черепахи, а уже потом принимала истинный свой облик.

Королева уехала; она понесла, и родилась у нее принцесса, которую она назвала Желанной. Она немедленно взяла свой букет, сказала вслух название каждого цветка — и тотчас увидела фей. Ехали они все в разных колесницах: кто в колеснице из черного дерева, запряженной белыми голубями, кто в колеснице из слоновой кости, которую везли воронята, кто в бамбуковой, а кто в кедровой. Таков был выезд у фей, когда они желали союза и мира, ведь когда они гневались, лишь на крылатых драконах, лишь на огнедышащих огнеглазых змеях, лишь на львах, леопардах и пантерах переносились они с одного края света на другой, да так быстро, что и слова вымолвить не успеешь; но на сей раз они были в наилучшем расположении духа.

Королева смотрела, как оживленно и вместе с тем величаво феи входят в покои, а за ними следом шествуют карлики и карлицы, гибнущие под тяжестью подарков. Обняв королеву и поцеловав малютку-принцессу, они развернули принцессино приданое — пеленки из тончайшего полотна, такого прочного, что оно не износилось бы и за сотню лет: феи ткали его в часы досуга. Но даже это полотно не могло сравниться с кружевами: веретеном да иглой феи изобразили на них историю всего света. Затем они показали простыни и покрывала с сотнями вышивок, сделанных специально для принцессы и посвященных разным детским играм. С тех пор, как существуют в мире золотощвей, еще ни разу не создавали они ничего чудеснее, но когда достала колыбельку, королева вскрикнула от восхищения, потому что такой красоты она прежде никогда не видела. Колыбелька была из дерева столь редкой породы, что оценивалось оно в тысячу экю за фунт. Ее поддерживали четыре несравненно прекрасные статуэтки, четыре маленьких амура, вырезанные из алмазов и рубинов, но искусство сотворившего их мастера настолько затмевало эти бесценные камни, что не сказать словами. Амуры, оживленные феями, могли качать и баюкать

малютку, когда она плакала; это было замечательно удобно для кормилиц.

Феи взяли принцессу на руки и запеленали ее; они беспрестанно целовали крошку, ведь была она уже так хороша, что невозможно было ее увидеть и не полюбить. Они поняли, что ребенок просит грудь, и стоило им трижды ударить по полу волшебной палочкой, как появилась кормилица, точь-в-точь такая, какую подобало иметь этой прекрасной малютке. Феям оставалось теперь только одарить дитя, и они не замедлили это сделать: одна наделила ее добродетелью, другая — умом, третья — удивительной красотой, четвертая — везением, пятая пожелала ей здоровья на всю жизнь, а шестая — умения делать все, за что она ни возьмется, наилучшим образом.

Королева в восторге благодарила фей за милости, которыми они осыпали малютку-принцессу, как вдруг увидели, что в комнату вползает черепаха, такая громадная, что она едва пролезла в двери.

— А, неблагодарная королева, — сказала черепаха, — вы даже не соизволили вспомнить обо мне? Как могли вы так скоро позабыть фею Источника и то, какую услугу я вам оказала, проводив вас к своим сестрам? Как посмели вы позвать их всех и пренебречь только мною?! Конечно, я предчувствовала, что так оно и случится, — вот почему, желая показать, что ваши дружеские чувства ко мне будут ползти черепашиным шагом, а не лететь по воздуху, я обернулась черепахой, когда говорила с вами впервые.

В отчаянии от своей ошибки королева перебила черепаху и попросила прощения: ей казалось, что она назвала и ее цветок, но, наверное, все-таки сбилась, глядя на букет из драгоценных камней, и, разумеется, она никогда не позабудет, чем она обязана фее Источника, и умоляет не лишать ее своей дружбы, а главное, быть благосклонной к принцессе. Боясь, как бы фея Источника не ссудила на долю принцессы неудач и бед, остальные феи вторили королеве, чтобы как-то смягчить сестру.

— Милая сестрица, — говорили они, — пусть Ваша Светлость не сердится на королеву, у нее ведь и в мыслях не было огорчить вас! Скиньте, пожалуйста, черепаший панцирь, предстаньте перед нами во всей вашей красе.

Фея Источника, как уже говорилось, была большая кокетка, и похвалы сестер немного смягчили ее.

— Хорошо, — ответила она, — я принесу принцессе меньше вреда, чем сначала того хотела: я уж было точно решила ее погубить, и помешать мне был никто не в силах; но я предупреждаю, что если принцесса увидит дневной свет до своего пятнадцатилетия, ей придется горько пожалеть об этом, и может быть, даже поплатиться за это жизнью.

Слезы королевы и мольбы славных фей не изменили ее приговор, и она уползла прочь черепашиным шагом: она ведь так и не захотела скинуть свой панцирь.

Когда она оставила дворцовые покои, опечаленная королева спросила фей, как уберечь дочурку от грозящих ей бед. Феи стали держать совет и, выслушав всевозможные предложения, решили вот что: нужно построить дворец с подземным входом без окон и дверей и держать там принцессу до тех пор, пока не выйдет из того злополучного возраста, когда жизнь ее будет находиться под угрозой.

Три удара волшебной палочки — и вознеслось громадное здание. Снаружи оно было облицовано белым и зеленым мрамором, а внутри полы и потолки украшали выложенные из алмазов и изумрудов цветы, птицы и много чего еще приятного глазу. Стены были затянуты разноцветным бархатом, расшитым руками фей: они увлекались историей и

не отказали себе в удовольствии вышить самые замечательные и славные ее эпизоды; будущее там представлялось не менее полно, чем прошлое, и много стен отводилось изображению героических деяний величайшего властителя на свете.

Здесь духу Фракии подобен,
Победоносен, величав,
И страшный взор его среди военных слав
Суров, молниеносен, грозен.
А там — спокоен и велик,
В глубоком мире Францией он правит,
И целый мир его, ревнуя, славит
И пред его законами поник.
И живопись изображает
События и дела его великих лет:
Он, грозный, грады покоряет,
Великодушен, мир лиет.

Мудрые феи решили, что принцессе так будет проще узнать о деяниях героев и событиях из жизни других людей.

Ни единый солнечный луч не проникал во дворец, но от множества свечей там было постоянно светло. Чтобы принцесса во всем достигла совершенства, к ней пригласили самых разных учителей; благодаря своему уму, живости и сметливости она почти всегда заранее знала то, что они собирались ей рассказать, и не переставала восхищаться их всем тем, что говорила удивительные вещи, да еще в таком возрасте, когда другие дети едва могут пролепетать имя кормилицы: не затем ведь одарили ее феи, чтобы она росла невеждой и дурочкой.

Но если всякого, кто знал принцессу, очаровывал ее ум, то действие ее красоты было еще сильнее: самые бесчувственные — и те восторгались ею, а королева, ее мать, только бы и делала, что на нее глядела, если бы долг не призывал ее к королю. Добрые феи время от времени навещали принцессу; они приносили ей в подарок диковинки, каких свет не вмывал, платья, так ладно скроенные, такие богатые и нарядные, будто сшиты они были к свадьбе какой-нибудь юной принцессы, столь же прелестной, как та, о которой я вам рассказываю. Но из всех фей, которые лелеяли нашу принцессу, больше всего любила ее фея Тюльпанов, и она особенно настойчиво напоминала королеве, что принцесса не должна видеть дневной свет, пока ей не минет пятнадцать.

— Сестра наша, Фея Источника, — мстительная особа, — сказала она королеве, — и какое участие ни принимаем мы в вашей дочери, она ей навредит, если сможет, потому, госпожа моя, будьте особенно бдительны.

Королева пообещала ни на минуту не упускать из виду этого столь важного обстоятельства; но ее дочурка уже приближалась к тому возрасту, когда ей пора было выйти из замка, и королева заказала ее портрет, и портрет этот послали ко двору самых великих королей на свете. Им залюбовались все принцы, но был среди них один, которого портрет так потряс, что он ни на минуту не мог с ним расстаться. Он повесил его у себя в кабинете, запирался с ним наедине и обращался к нему с самыми страстными речами, будто портрет наделен был разумом и способен ему внимать.

Король, который теперь почти не видел своего сына, велел разузнать, чем он занят и куда пропала его обычная веселость. Приворные, каких немало, из таких, у кого на все готов ответ, сказали, что они опасаются за его рассудок, потому что он целыми днями сидит один,

запершись у себя в кабинете, и разговаривает вслух, будто там есть кто-то еще.

Король встревожился.

— Мыслимое ли дело, — спрашивал он у своих приближенных, — чтобы мой сын помешался? Он, такая светлая голова! Вы же знаете, как всегда восхищались его умом, но и теперь, по-моему, он отнюдь не безумен, просто что-то его печалит. Я должен сам побеседовать с ним — и, быть может, пойму, что за напасть его одолела.

Король и вправду послал за сыном и велел оставить их наедине; сначала принц слушал невнимательно и отвечал невпопад, и тогда король напрямую спросил его, что с ним стряслось, отчего так переменялись и облик его, и нрав.

Принц решил, что пришло время открыться, и бросился отцу в ноги.

— Вы изволили, — сказал он, — выбрать мне в супруги принцессу Черную: я не могу обещать, что выгоды, которые вы находите в этом союзе, принесет и союз с принцессой Желанной, но для меня, государь, принцесса Желанная столь же исполнена очарования, сколь его лишена другая.

— Где же вы видели этих принцесс? — спросил король.

— Мне прислали портреты обеих, — ответил принц Воитель (так его стали звать после того, как он выиграл три больших сражения). — Любовь моя к принцессе Желанной столь велика, что признаюсь вам: если вы не возьмете назад обещание, данное принцессе Черной, то, утратив надежду соединиться с любимой, я должен буду расстаться с жизнью и радостно приму смерть.

— Так это с ее портретом вам угодно вести разговоры, которые делают вас посмешищем всех придворных? — строго спросил его король. — Они вас считают помешанным, и если бы вы знали, что о вас говорят, вам было бы стыдно так обнаруживать вашу слабость.

— Мне трудно ставить себе в вину столь прекрасное чувство, — ответил принц. — Вы сами одобрите мою любовь к принцессе, стоит лишь вам увидеть ее портрет.

— Так пойдите и сейчас же его принесите, — сказал король с нетерпением, которое выдавало его тревогу.

Принц пришел бы в смятение, не знай он наверняка, что ничто на свете не сравнится с красотой Желанной. Он бросился к себе в покои и вернулся с портретом; короля портрет пленил так же, как и его сына.

— Ах, мой милый Воитель, — сказал он, — я согласен уступить вашим желаниям! Да я просто помолодею, когда у меня при дворе появится столь прелестная принцесса; я немедленно отправлю послов к принцессе Черной, чтобы взять назад свое обещание: я готов на это пойти, даже если между нами начнутся потом жестокие раздоры.

Принц почтительно поцеловал руки отцу и многожды обнял его колени. Он радовался так, что стал совершенно неузнаваем. Он настаивал на том, чтобы отец отрядил послов не только к принцессе Черной, но и к принцессе Желанной, чтобы по такому торжественному случаю послом назначили самого богатого и самого именитого дворянина, который успешно бы справился со своим поручением. Выбор короля остановился на Бекафиге: это был владетельный сеньор с доходом в сто миллионов в год, молодой и очень красноречивый. Он преданно любил принца Воителя и ему в угоду снарядил посольский поезд настолько большой и пышный, насколько у него хватало воображения. Это стоило ему огромных усилий: ведь любовь принца с каждым днем делалась все сильнее и сильнее и он беспрестанно умолял Бекафига поскорее отправиться в путь.

— Подумайте, — доверительно говорил ему принц, — речь идет о моей жизни, я лишаюсь рассудка, как только подумаю, что отец принцессы может принять предложение кого-то другого и не захочет его расторгнуть ради меня: ведь тогда я теряю ее навеки.

Бекафиг успокаивал его, стремясь выиграть время: он радовался тому, что его старания делают ему честь. Он снарядил восемьдесят карет, сверкающих золотом и алмазами — самые изысканные украшения не могли сравниться с ними изяществом отделки, — и еще пятьдесят карет, которые сопровождали двадцать четыре тысячи конных пажей, одетых роскошнее принцев; все остальное в этом громадном кортеже было им под стать.

Во время прощальной аудиенции принц крепко обнял своего посла и сказал:

— Помните, дорогой Бекафиг: жизнь моя зависит от брака, о котором вам предстоит договариваться; сделайте все, чтобы получить на него согласие, и возвращайтесь назад вместе с моей обожаемой принцессой.

И он передал ему сотни подарков, столь же роскошных, сколь красноречиво говоривших о пылкости чувств дарителя: были то алмазные печатки с вырезанными на них изречениями о любви, карбункуловые часы с вензелем Желанной, браслеты из рубинов в форме сердец. Словом, чего он только не напридумывал, чтобы понравиться своей избраннице!

Посол вез с собой портрет юного принца, написанный таким искусным мастером, что портрет этот умел разговаривать и делать остроумные замечания. Он, правда, не мог поддерживать настоящую беседу, но это не умаляло его достоинств. Бекафиг обещал, что он пустит в ход все доступные ему средства, дабы исполнить желание принца, и добавил, что везет с собой столько денег, что если ему откажут в руке принцессы, он подкупит слуг и похитит ее.

— О нет, — вскричал принц, — я не могу на это решиться: принцессу может оскорбить столь непочтительное обращение!

Бекафиг ничего ему не ответил и тронулся в путь.

Молва о приезде посла опередила его самого; король с королевой очень обрадовались: они высоко ценили его государя и были наслышаны о великих подвигах принца Воителя, но еще более — о его добродетелях и, выбирая дочери жениха, решили, что более достойного не сыскать на всем белом свете. Они велели приготовить Бекафигу отдельный дворец и позаботились о том, чтобы королевский двор предстал перед ним во всем своем блеске.

Король с королевой хотели представить посла принцессе Желанной, но тут появилась фея Тюльпанов и сказала королеве:

— Остерегитесь, госпожа моя, вести Бекафига к нашей дочурке (так она называла принцессу), он не должен ее видеть до срока, и не соглашайтесь на просьбы короля отпустить ее из родного дома, пока ей не минет пятнадцать лет, потому что если она уедет раньше времени, с ней наверняка приключится беда.

Королева обняла добрую фею и обещала послушаться ее совета, а потом они отправились к принцессе.

Посол приехал. Его поезд въезжал в столицу почти целый день и целую ночь, ведь было в нем шестьсот тысяч мулов с колокольчиками и подковами из чистого золота, в расшитых жемчугами пополах из бархата и парчи; весь народ высыпал на улицы поглядеть, и в городе творилась невообразимая толкотня. Король с королевой так обрадовались приезду посла, что вышли ему навстречу. Можно себе представить, какие тут начались речи и церемонии с той и с другой стороны, а потому

нет нужды об этом рассказывать; однако же Бекафигу отказали в удовольствии приветствовать принцессу, чем он нимало был удивлен.

— Если мы вам отказываем, сеньор Бекафиг, — сказал король, — в вашей столь естественной просьбе, то вовсе не из капризности нрава: вам нужно услышать странную историю, приключившуюся с нашей дочерью, и вы все поймете.

При рождении принцессы одна из фей невзлюбила ее и пригрозила ей большим несчастьем, если она увидит дневной свет, пока не достигнет пятидесятилетия; принцесса живет во дворце, лучшие покои которого находятся под землей. Мы собирались проводить вас туда, но фея Тюльпанов наказала нам ни в коем случае этого не делать.

— Как же так, государь? — ответил посол. — Неужели, к моему великому сожалению, я должен буду возвратиться без принцессы? Вы предназначаете ее в супруги сыну короля, моего повелителя, и ее ждут с большим нетерпением: возможно ли, чтобы вас останавливали такие пустяки, как предсказания фей? Мне поручено преподнести принцессе портрет принца — вот он: принц изображен на нем так похоже, что когда я смотрю на этот портрет, мне кажется, будто я вижу живого принца.

С этими словами он достал портрет, и портрет, наученный говорить только с принцессой Желанной, промовил:

— Прекрасная принцесса, вы и представить себе не можете, как страстно я желаю вас видеть; явитесь скорее к нашему двору и украсьте его своей несравненной прелестью.

Больше портрет ничего не сказал, а король и королева так удивились, что стали просить Бекафига отдать им портрет, чтобы можно было его показать принцессе, и обрадованный Бекафиг тотчас же это сделал.

Королева пока что ни о чем не рассказывала дочери и запретила придворным дамам, окружавшим принцессу, сообщать ей о приезде посла, но те не стали слушать, и принцесса знала, что затевается великое сватовство, однако из осторожности никак не обнаруживала этого перед матерью. Когда королева показала ей говорящий портрет принца, который произнес несколько нежных и изысканных комплиментов, она необычайно удивилась: никогда она еще не видела ничего подобного, а приветливое лицо, умный взгляд и правильные черты принца поразили ее ничуть не меньше, чем слова, сказанные портретом.

— Ведь вы не стали бы горевать, — со смехом спросила королева, — если бы ваш супруг был похож на этого принца?

— Госпожа моя, — ответила принцесса, — выбирать не мне, а тот, кого вы предназначите мне в мужа, мне всегда будет мил.

— Хорошо, — продолжила королева, — а если бы выбор пал на него, разве вы не сочили бы себя счастливицей?

Принцесса покраснела, опустила глаза и ничего не ответила.

Королева обняла и расцеловала ее: она не могла удержаться от слез при мысли о том, что близится пора расставания, ведь до пятидесятилетия дочери оставалось всего лишь три месяца; стараясь скрыть свою печаль, она рассказала принцессе о посольстве именитого Бекафига и даже отдала дочери диковинки, которые тот привез ей в подарок. Принцесса выразила свое восхищение и, проявив тонкий вкус, особо отметила самые интересные, но время от времени взгляд ее невольно падал на портрет принца и задерживался на нем, и тогда она чувствовала радостное волнение, доселе ей неизвестное.

Посол, видя, что все его просьбы опустить принцессу напрасны и что родители его ограничиваются обещаниями, в серьезности которых, однако, не приходится сомневаться, немного побыл у короля и поехал

обратно на почтовых доложить своему повелителю о том, как он выполнил его поручение.

Когда принц узнал, что у него нет надежды увидеть милую принцессу раньше, чем через три месяца, он так возжаловался на судьбу, что весь королевский двор охватило уныние: принц перестал спать, перестал есть, все грустил да мечтал, вместо свежего румянца по лицу его разлилась печальная бледность; он целыми днями лежал на диване, глядя на портрет принцессы: он непрерывно писал ей письма и клал эти письма рядом с портретом, будто тот мог их прочесть; в конце концов он совсем ослаб и опасно заболел, а что явилось тому причиной. было понятно без медиков и докторов.

Король пришел в полное отчаяние: ни один отец не любил своего сына столь нежной любовью. И вот он его теряет: какое горе для родителя! — и не ведает лекарство, которое бы его исцелило: принцу нужна Желанная, без нее ему свет не мил. Тогда решил король, что из столь бедственного положения может быть лишь один выход: отправиться к королю и королеве, которые пообещали ему руку принцессы, и умолит их из жалости к принцу не откладывать свадьбу: ведь она вообще не состоится, если родители принцессы станут упрямо ждать, пока ей минет пятнадцать лет.

Это был крайний шаг, но что делать, если иначе он обрекал на гибель столь доброго и любезного его сердцу сына? Здесь, однако, возникла одна непреодолимая трудность: по причине преклонных лет король мог путешествовать только на носилках, а столь медленный способ передвижения был вовсе не по душе нетерпеливому принцу, и король отправил на перекладных Бекафига с письмом, где в самых трогательных выражениях просил короля и королеву уступить его просьбе.

Меж тем принцессе Желанной было не менее приятно смотреть на портрет принца, чем ему на ее портрет. Она все время вертелась возле портрета и как ни старалась скрыть свои чувства, разгадать их никому не составляло труда, в том числе и ее фрейлинам, Гортензии и Колючке; они обе заметили, что ее гложет какое-то беспокойство. Гортензия горячо и преданно любила принцессу, а Колючка всегда втайне завидовала ее достоинствам и высокому положению: мать Колючки воспитывала принцессу, она была сперва ее гувернанткой, а потом статс-дамой: она бы верно обожала принцессу как прелестнейшее существо на свете, не люби она до безумия свою дочь; но поняв, что та ненавидит прекрасную принцессу, уже не могла желать ей добра.

Посла, направленного ко двору принцессы Черной, встретили не слишком приветливо, когда узнали, с каким поручением он явился: эфиопка эта была необычайно мстительна и сочла большой дерзостью то, что сперва заручившись ее обещанием, после присылают гонца и расторгают помолвку с нею, хотя бы и соблюдая при этом все правила учтивости. Она видела портрет принца, и он пробудил в ней страсть, а если уж эфиопки полюбят, то становятся сумасбродками, каких мало.

— Как, господин посол, — сказала она, — я недостаточно богата и недостаточно красива для вашего повелителя? Пройдитесь по моим владениям, и вы поймете, что нет их обширней; посетите королевскую сокровищницу, и вы увидите столько золота, сколько не добыть из всех золотых копей Перу; посмотрите, наконец, на мою черную кожу, мой приплюснутый нос, мои толстые губы — это ли не настоящая красота?

— Госпожа, — ответил посол, боясь отведать палок (и даже больше, чем те, кого посылают в Высокую Порту), — я порицаю своего повелителя настолько, насколько дозволено подданному, и если бы небу было угодно возвести меня на высочайший престол мира, я знаю наверняка, с кем бы я захотел его разделить.

— Эти слова спасли вам жизнь, — сказала принцесса Черная, — я уже решила сделать вас первой жертвой своей мести, но это было бы нарушением справедливости: ведь не вы же повинны в дурном поступке вашего принца. Пойдите и скажите ему, что я счастлива порвать с ним: я не люблю нечестных людей.

Посол только и думал о том, как бы поскорее унести ноги, и не замедлил это сделать, когда она его отпустила.

Но эфиопка была слишком уязвлена, чтобы простить принца Воителя. Она села в колесницу из слоновой кости, запряженную шестью страусами, которые мчались со скоростью десяти миль в час, и отправилась во дворец феи Источника, своей крестной матери и лучшей подруги; она рассказала фее, что с ней приключилось, и заклинала помочь наказать обидчика. Фею тронуло горе крестницы: она заглянула в книгу, где все написано, и тотчас узнала, что принц Воитель бросил принцессу Черную ради принцессы Желанной, в которую без ума влюблен, и что он даже заболел, так ему не терпится ее видеть. И тогда гнев феи, уже почти остывший, вспыхнул с новой силой: ведь она не видела принцессу с самого ее рождения и теперь, нужно думать, уже не стала бы чинить ей зла, если бы не настойчивые просьбы мстительной Чернушки.

— Как! — воскликнула фея, — эта несчастная принцесса Желанная по-прежнему норовит мне досадить? Нет, прелестная принцесса, нет, моя крошка, я не потерплю, чтобы тебя оскорбляли, заступниками тебе будут небеса и стихии, возвращаясь домой и положишься во всем на свою дорогую крестную.

Принцесса Черная поблагодарила ее и оставила ей в подарок цветы и фрукты, которые та любезно приняла.

Посол Бекафиг летел во весь опор в столицу, где находился двор отца принцессы Желанной; бросившись в ноги королю и королеве и проливая потоки слез, он сказал им в самых чувствительных выражениях, что принц Воитель умрет, если ему хоть сколько-нибудь отдалят радость свидания с принцессой, что до ее пятнадцатилетия осталось всего лишь три месяца, а за столь короткое время с ней ничего не может приключиться дурного; более того, он берет на себя смелость заметить, что такое доверие к ничтожным феям может уронить их королевское достоинство, — словом, говорил со всем присущим ему даром убеждения. Они рыдали вместе с ним, вообразив плачевное состояние молодого принца, и в конце концов попросили несколько дней для того, чтобы все хорошенько обдумать и дать ему ответ. Посол ответил, что располагает лишь несколькими часами, — ведь господин его находится на грани жизни и смерти, полагая, что он противен принцессе и поэтому она сама медлит с отъездом; Бекафига заверили, что к вечеру он уже будет знать, как можно выйти из столь затруднительного положения.

Королева побежала во дворец своей милой дочери и обо всем ей рассказала. Сердце принцессы жалось от невероятной боли, она упала без чувств, и тогда королева поняла, что она любит принца.

— Не печальтесь, дорогое дитя, — сказала она принцессе, — исцеление принца полностью в ваших силах, меня тревожит лишь то, что фея Источника угрожала вам в день вашего рождения.

— Надеюсь, — сказала принцесса, — мы обманем злую фею, если примем некоторые меры предосторожности: нельзя ли мне, например, поехать в закрытой карете, куда не проникнет ни один солнечный луч? Открывали бы ее только ночью, чтобы дать нам поесть, и я благополучно добралась бы до принца Воителя.

Мысль эта показалась королеве столь удачной, и король, с которым она посоветовалась, тоже решил, что стоит рискнуть; срочно призвал

Бекафига, они дали ему твердые заверения в том, что принцесса в самом скором времени отправится в путь, а он может воротиться домой и сообщить эту добрую весть своему господину; и более того, чтобы не задерживать отъезд принцессы, ей не станут готовить ни выезд, ни богатые наряды, подобающие ее положению. В порыве радости и благодарности посол вновь бросился в ноги Их Величеств, а затем, не мешкая ни минуты, уехал, так и не увидев принцессу.

Разлука с королем и королевой показалась бы принцессе невыносимой, если бы она меньше желала соединения с принцем, но ведь есть же такие чувства, которые едва ли не заглушают все остальные. Для нее приготовили большую карету без единого окошка, снаружи обитую зеленым бархатом, отделанным золотыми пластинами, а изнутри — серебристо-розовой парчой; закрывалась она наглухо, как шкатулка, и даже плотнее, а ключи от замков на дверцах доверили одному из самых знатных придворных королевства.

Красою грации сияли,
Утехи, игры, легкий смех!
И, улетая дальше всех,
За ней амуры поспешали.
Взор сочела величавый
С небесной нежностью она,
Мечта была поражена
Ее улыбкою и славой.
Ей удалось нас покорить
Красою царственного вида;
Как нежная Аделаида,
Она пришла, чтоб мир нам подарить.

В сопровождающие принцессе отрядили совсем немного прислуги, чтобы большая свита не задерживала ее в пути, и после того, как ей подарили прекрасные драгоценности и несколько очень богатых платьев, после, как уже говорилось, долгого прощания, во время которого король, королева и все придворные чуть не задохнулись от слез, ее заперли в темной карете вместе с ее статс-дамой, Гортензией и Колючкой.

Может быть, вы уже забыли, что Колючка совсем не любила принцессу Желанную, зато очень пылко любила принца Воителя: однажды ей случилось увидеть его говорящий портрет. И любовь эта так глубоко пронзила ее сердце, что при отъезде она сказала матери, что не сможет жить, если принцесса выйдет за него замуж, и та должна непременно расстроить свадьбу, если не хочет ее потерять навеки. Статс-дама ответила, что постарается помочь ее горю и сделает так, чтобы ее дочь была счастлива.

А ведь когда королева отпускала из дому свое дорогое дитя, она препоручила заботы о принцессе прежде всего этой дурной женщине.

— Какое только сокровище вам не доверишь! — говорила она. — Дочь моя мне дороже жизни: следите за ее здоровьем, но в особенности — за тем, чтобы она не увидела дневного света. Тогда все пропало: вы же знаете, какие беды ей угрожают, и я договорилась с послом принца Воителя, что до своего пятнадцатилетия она будет жить в замке и видеть лишь свет свечей.

Королева осыпала статс-даму подарками, дабы она неукоснительно исполнила ее поручение. Та пообещала, что принцесса останется цела и невредима, а она сразу по приезде подробно ей напишет о том, как прошло путешествие.

Вот почему, полагаясь на нее, король с королевой совсем не тревожились за свою дочь, и это немного облегчало им боль разлуки; между тем от слуг, которые по вечерам открывали карету и подавали им ужин, Колючка узнала, что они уже приближаются к городу, где их ждут, и стала требовать от матери скорейшего исполнения их замысла, ведь она боялась, как бы король и принц не опередили ее, а тогда уже будет поздно; и вот около часу пополудни, когда солнце вокруг светит ярко, статс-дама разрезала верх кареты большим ножом, который она как раз для этого с собой захватила. Вот тогда принцесса Желанная и увидела впервые дневной свет солнца. И едва увидев его, она глубоко вздохнула и тотчас обернулась белой ланью, а затем, выпрыгнув из кареты, поскакала к ближайшему лесу, где нашла тенистое место, и там, одна-одинешенька, стала печалиться об утрате своего прелестного облика.

Видя, что сопровождающие принцессы бросились кто следом за нею в лес, а кто в город, чтобы рассказать принцу Воителю о постигшей его беде, фея Источника, которая и подстроила это странное приключение, казалось, решила изничтожить все сущее: громом и молниями она устрасила самых храбрых и своею волшебною властью перенесла всех этих людей далеко-далеко прочь от того места, где ей было неуютно их присутствие.

Остались там только статс-дама, Колючка и Гортензия. Гортензия бросилась вслед за своею госпожою, оглашая леса и доли ее именем и горькими жалобами. А Колючка с матерью, обрадовавшись свободе, незамедлительно взялись за исполнение своего замысла. Колючка надела лучший наряд принцессы. Королевская мантия, которую шили к свадьбе, оказалась невиданно роскошной, в короне сияли алмазы величиною с два или три кулака, скипетр вырезан был из цельного рубина, а в другую руку она взяла державу — жемчужину размером больше человеческой головы: нести эти диковинки было ох как нелегко, но дабы все поверили, что она и есть принцесса Желанная, Колючке нужно было предстать в полном королевском облачении.

В таком виде Колючка с матерью, которая несла шлейф мантии, направились в столицу. Лже-принцесса выступала важно, она не сомневалась в том, что им выйдут навстречу, и действительно, не успели они пройти и самую малость, как увидели большой отряд всадников, а посередине — два сверкающих золотом и драгоценными камнями паланкина, которые несли мулы с султанами из зеленых перьев (зеленый был любимым цветом принцессы). В одном паланкине восседал король, а в другом — больной принц, и оба терялись в догадках, не понимая, что это за дамы к ним приближаются. Самые нетерпеливые из королевской свиты поскакали вперед и по богатой одежде дам признали в них родовитых особ. Спешившись, всадники почтительно их приветствовали.

— Не откажите в любезности мне сказать, — обратилась к ним Колючка, — кто сидит на этих носилках?

— Наш король и сын его принц, они едут встречать принцессу Желанную, госпожа, — ответили те.

— Передайте им, пожалуйста, — продолжила она, — что я и есть принцесса; из зависти к моему счастью одна из фей ударами грома и молнии и разными необыкновенными чудесами разогнала мою свиту; но вот статс-дама с письмом от моего отца-короля и моими драгоценностями.

Всадники поцеловали край ее платья и во весь опор поскакали назад, чтобы сообщить королю о приближении принцессы.

— Как! — воскликнул король. — Она идет пешком и по самому солнцу!

Всадники передали ему то, что им было велено. Сгоравший от нетерпения принц подозвал их и, ни о чем не расспрашивая, сказал:

— Признайтесь, она ведь дивно, волшебной красива, настоящая принцесса!

Они ничего не ответили, и принц удивился.

— Вы молчите, потому что не находите слов для похвал? — спросил он.

— Государь, сейчас вы все увидите сами, — ответил самый смелый из всадников, — верно, дорожные тяготы очень изменили ее.

Принц продолжал удивляться, и если бы не слабость, наверняка вскопил бы с носилок с тем, чтобы удовлетворить свое нетерпение и любопытство. К лже-принцессе подошел спустившийся с носилок король вместе со всеми придворными, но стоило королю на нее взглянуть, как он громко вскрикнул и отшатнулся.

— Что я вижу! Какое вероломство! — потрясенно промолвил он.

— Государь, — заговорила статс-дама, отважно выступая вперед, — вот принцесса Желанная и письма от короля с королевой; я вручаю вам также шкатулку с драгоценностями, переданную мне ими при отъезде.

Король угрюмо промолчал в ответ, а принц, опираясь на плечо Бекафига, подошел к Колючке. О боги! Что с ним случилось, когда он хорошенько разглядел эту девицу, утраившую его своим непомерным ростом! Она была отвратительно тощей и такой долговззой, что одежда принцессы едва доходила ей до колен, ее лоснящийся красный нос загибался крючком еще больше, чем у попугая, а зубы были черные да кривые: словом, она была столь же уродлива, сколь хороша была принцесса Желанная.

Принц, мыслями которого владел лишь пленительный образ его принцессы, при виде Колючки остановился как вкопанный; он долго не мог вымолвить ни слова и взирал на нее в немом изумлении, а затем, обращаясь к королю, произнес:

— Я жертва предательства: чудный портрет, залог того, что я не напрасно отдал свою свободу, не имеет ни малейшего сходства с этой особой; нас хотели обмануть и обманули — ценой моей жизни.

— Обмануть, государь? — переспросила Колючка. — Что вам угодно этим сказать? Знайте: женившись на мне, вы навсегда убережете себя от обмана.

Наглость ее и высокомерие были беспримерны. Статс-дама подлила масла в огонь.

— Ах, прекрасная принцесса! — воскликнула она. — Куда мы попали? Разве так подобает приветствовать королевскую дочь? Какое непостоянство! Какая низость! Король, ваш отец, сумеет за вас отомстить!

— Мстить будем мы! — ответил король. — Нам обещали красавицу-принцессу, а прислали скелет, страшилище-мумию. Теперь я уже не удивляюсь тому, что король пятнадцать лет продержал взаперти этакое бесценное сокровище: он надеялся найти какого-нибудь простака и обвести его вокруг пальца; участь эта выпала нам, но мы еще стоим за себя!

— Какой поток оскорблений! — вскричала лже-принцесса. — О я несчастная — приехали, поверив на слово таким людям! Подумаешь, велика вина: представиться в портрете чуть-чуть миловидней, чем в действительности, — да так делают сплошь и рядом! Если бы принцы отказывали своим суженым из-за подобных недоразумений, то не многие вообще вступали бы в брак!

Король и принц, вне себя от ярости, не удостоили ее ответом; оба они сели в свои паланкины, а принцессу и статс-даму два гвардейца без особых церемоний усадили себе за спины в седла. Их привезли в город и по приказу короля заточили в Трехбашенный замок.

Происшедшее стало таким ужасным ударом для принца Воителя, что всю свою тоску он долго таил в себе. Когда же он настолько оправился, что мог излить ее в словах, чего он только не наговорил о своей злой судьбе! Он по-прежнему любил, но чувства его обращены были теперь лишь к портрету. Надежды его рухнули: прелестный образ принцессы Желанной, рисовавшийся воображению принца, оказался чистейшим вымыслом; он скорее был согласен умереть, чем жениться на той, кого принимал за принцессу; словом, отчаяние его не имело пределов, придворная жизнь нестерпимо тяготила его, и он решил тайком уехать, как только позволит здоровье, и провести остаток печальных дней своих в каком-нибудь уединенном месте.

О своих намерениях он сообщил лишь верному Бекафигу, зная наверняка, что тот всюду последует за ним, и именно с Бекафигом чаще всего говорил он о злой шутке, которую с ним сыграли. Почувствовав себя лучше, он действительно тотчас уехал, оставив отцу-королю на столе у него в кабинете длинное письмо: он писал, что непременно вернется, как только хотя бы отчасти обретет душевное спокойствие, но пока что он умоляет его думать об их общей мести и не выпускать из заточения принцессу-уродину.

Можно себе представить, как горевал король, читая это письмо. Мысль о разлуке со столь дорогим его сердцу сыном чуть не свела его в могилу. А пока все придворные занимались тем, что утешали его, принц и Бекафиг были уже далеко и через три дня оказались в большом лесу, так манившем прохладной сенью густых деревьев, зеленью травы и журчанием ручьев, что принц, еще не вполне окрепший и поэтому утомленный долгой дорогой, спешился и в унынии повалился на траву, подожив руку под голову; от слабости он еле мог говорить.

— Государь, — сказал ему Бекафиг, — отдыхайте, а я тем временем пойду поищу вам каких-нибудь освежающих плодов и заодно осмотрюсь вокруг.

Принц помолчал в ответ и лишь жестом показал, что отпускает его.

Уже немало времени прошло с тех пор, как мы оставили в лесу нашу лань, то есть несравненную принцессу. Она безутешно плакала, когда, посмотревшись в источник, как в зеркало, увидела там свое отражение.

— Неужели, — повторяла она, — это я? Почему именно сегодня суждено мне пережить самое невероятное приключение, какое только может случиться по воле фей с невинной принцессой! Долго ли продлится мое превращение? Где укрыться, чтобы меня не загрызли волки, медведи и львы? И как же я буду есть траву?

Словом, она задавала себе сотни вопросов и тосковала горше горького. Оставалось ей, правда, одно утешение: она была столь же прелестной ланью, как прежде принцессой.

Проголодавшись, Желанная с аппетитом пощипала травку и подивилась тому, как хорошо это у нее получается. Затем она прилегла на мшистую землю; настала ночь, и она провела ее в невообразимом страхе. Совсем рядом с нею раздавалось рычание хищников, и не раз, забывая, что она лань, она пробовала взобраться на дерево. На рассвете принцесса чуть-чуть успокоилась и залюбовалась красотой дневного света, а солнце казалось ей чем-то таким чудесным, что она не сводила с него глаз: принцесса-лань знала о нем понаслышке, но то, что она теперь видела, оказалось несоизмеримо прекраснее; лишь солнце могло

служить ей утешением в этом пустынном месте. Она провела там несколько дней совершенно одна.

Фея Тюльпанов, которая всегда любила принцессу, глубоко сочувствовала ее несчастью, однако была очень раздосадована тем, что ни королева, ни принцесса не захотели прислушаться к ее советам: ведь она столько раз повторяла, что принцессе не миновать беды, если она уедет из дому прежде, чем ей исполнится пятнадцать лет, но она вовсе не собиралась обречь девушку злой воле феи Источника, и она-то направила стопы Гортензии в лес, дабы сия новая наперсница утешала принцессу в беде.

Красавица-лань тихо шла вдоль ручья, когда Гортензия, которая падала с ног от усталости, прилегла отдохнуть. Но и отдыхая, она печально размышляла о том, в какую же сторону ей податься, чтобы найти свою дорогую принцессу. Заметив Гортензию, лань мигом перепрыгнула через широкий и глубокий ручей и бросилась к ней ласкаться. Та удивилась: непонятно ей было, то ли здешние звери испытывают особую приязнь к человеку, отчего сами делают похождения на людей, то ли эта лань ее знает: ведь и впрямь очень странно было, что лани вздумалось так приветствовать ее в лесу.

Она внимательно на нее поглядела и с изумлением увидела, что из глаз лани катятся крупные слезы: у Гортензии больше не оставалось сомнений в том, что перед ней ее дорогая принцесса. Она взяла ее ножки и стала целовать их так же почтительно и нежно, как некогда целовала принцессины ручки. Потом она с нею заговорила и окончательно убедилась, что лань все понимает, но не может ответить; тут начались вздохи и слезы пуще прежнего. Гортензия обещала своей госпоже, что не отойдет от нее ни на шаг, а лань глазами и движениями головы показала, что она очень рада и что это отчасти облегчит ее страдания.

Они почти не раставались весь день. Лань, боясь, как бы ее верная Гортензия не проголодалась, повела ее в тот уголок леса, где она как-то видела дикие, но очень вкусные плоды. Та их поела вволю — ведь она безумно проголодалась, но, насытившись, вдруг страшно забеспокоилась: она совершенно не представляла себе, где им укрыться, а оставаться в лесу до утра, подвергая и госпожу, и себя множеству опасностей, — на это Гортензия никак не могла решиться.

— Неужели, милая лань, — спросила она, — вам не страшно провести всю ночь под открытым небом?

Лань повела глазами и вздохнула.

— Но ведь вы, — продолжила Гортензия, — уже обошли часть этого огромного леса. Быть не может, чтобы где-нибудь здесь не было избушки угольщика или дровосека, какого-нибудь уединенного жилища!

Движениями головы лань ответила ей, что ничего такого не видела.

— О боги! — воскликнула Гортензия. — Завтра меня уже не будет в живых: если мне посчастливится избежать клыков медведей и тигров, я наверняка умру просто от страха. Но не подумайте, дорогая принцесса, что эта участь печалит меня сама по себе: она печалит меня из-за вас. Ах, лишить вас последнего утешения и оставить совсем одну — что может быть ужаснее!

Малютка-лань расплакалась, она рыдала почти как человек.

Эти слезы тронули фею Тюльпанов, которая нежно любила принцессу: хотя та ее и не послушалась, она продолжала оберегать ее жизнь и поэтому внезапно появилась перед ней и сказала:

— Я вовсе не хочу вас корить, меня слишком тревожит ваше теперешнее состояние.

Лань и Гортензия не дали фее договорить и бросились перед ней на колени: одна целовала ей руки и осыпала ее нежностями, другая умоляла жалиться над принцессой и вернуть ей человеческий облик.

— Это не в моей власти, — отвечала фея Тюльпанов, — та, кто причинила ей столько зла, — очень могущественная волшебница, но я уменьшу срок наказания и облегчу его, сделав так, что принцесса будет становиться девушкой, как только день сменяется ночью, но едва займется утренняя заря, ей придется вновь принимать облик лани и, как всем ланям, бегать по лесам и долам.

Хотя бы ночью не быть ланью уже так много значило для принцессы, что, выражая свой восторг, она принялась прыгать и скакать, к большой радости феи Тюльпанов.

— Идите, — сказала она, — вот по этой тропинке, и вы увидите домик, довольно опрятный для сельских мест.

С этими словами фея исчезла. Гортензия и принцесса-лань послушно пошли по тропинке, что вилась перед ними, и вскоре увидели старушку, которая сидела на пороге хижины и плела корзинку из ивняка. Гортензия поздоровалась с нею.

— Матушка, — попросила она, — приютите меня с моей ланью. Мне нужна хотя бы небольшая комнатка на ночь.

— Хорошо, доченька, — ответила та, — мне одно удовольствие, чтобы вы тут жили, заходи вместе со своей ланью.

И она провела их в красивую комнату, где стояли две кровати с белыми покрывалами и тонкими простынями, а стены были обшиты дикой вишней и все выглядело до того просто и опрятно, что принцессе, по ее словам, там понравилось, как нигде.

С наступлением ночи Желанная перестала быть ланью; она расцеловала свою дорогую спутницу в благодарность за то, что Гортензия из любви к ней разделяла ее судьбу; судьбу же Гортензии она обещала устроить, притом очень счастливо, лишь минет срок наказания.

Негромко постучав к ним в дверь, старушка через порог передала Гортензии прекрасные фрукты, которые принцесса съела с большим аппетитом, и они легли спать, а как только занялся день, Желанная вновь обернулась ланью и стала скрести копытцем в дверь и проситься на волю. Расставались они хоть и ненадолго, но с заметным сожалением, и лань убежала, как водится, резвиться в лесную глушь.

В том же самом лесу, как уже говорилось, сделал привал принц Воитель, и Бекафиг бродил там в поисках съедобных плодов. Было уже совсем поздно, когда он наткнулся на домик доброй старушки, о которой мы тоже только что рассказывали. Он учтиво к ней обратился и попросил какой-нибудь еды для своего господина. Старушка живо собрала корзину всякой снеди и отдала ему.

— Боюсь, — сказала она, — как бы с вами не приключилось чего худого, если вы останетесь на ночь в лесу, и могу вам предложить свой кров: он убог, но защитит вас от диких зверей.

Поблагодарив ее, Бекафиг сказал, что он не один, а с другом и сейчас за ним сходит. Он и впрямь так умело уговаривал принца, что тот согласился переночевать у доброй старушки. Она встретила их, стоя, по своему обычаю, на пороге, и бесшумно провела в комнату, похожую на комнату принцессы; комнаты эти были смежные и разделялись только перегородкой.

Принца, как повелось, всю ночь не оставляли тревожные мысли. Едва в окно заглянули первые лучи солнца, он встал и отправился разгонять тоску в лес, сказав Бекафигу, что хочет побыть один. Он долго шел куда глаза глядят и в конце концов вышел на прогалину — деревья там росли реже, а земля была покрыта мхом — и вдруг спугнул лань.

Принц не удержался и пустился за ней в погоню: он страстно любил охоту, но сердечный недуг отнял у него былую резвость. Все же он продолжал преследование, время от времени пуская стрелы, ни одна из которых, хотя лань смертельно пугалась, не задевала ее, ибо верная Фея Тюльпанов оберегала принцессу, и, пожалуй, лишь рука спасительницы-феи могла уберечь от столь метких выстрелов. Никто и никогда так не уставал, как красавица-лань: нестиль с подобной скоростью ей приходилось впервые; наконец она ловко вильнула вбок, и опасный ототник, сам необычайно утомленный погоней, прекратил преследование.

После такого дня лань обрадовалась, что наступает час возвращения, и направилась к домику, где ее с нетерпением поджидала Гортензия. Едва войдя в свою комнату, она, тяжело дыша, упала на кровать, обливаясь потом. Гортензия стала нежно ее гладить; она сгорала от желания узнать, что же с ней приключилось. Когда же принцессе пришло время перестать быть ланью, она обернулась девушкой и сказала, бросившись на шею своей любимице:

— Увы, я думала, что мне некого бояться, кроме феи Источника и свирепых хозяев леса, но сегодня меня преследовал молодой охотник, и я едва его разглядела, так стремительно мне пришлось от него убежать: стрелы, которые он пускал в меня одну за другой, грозили неминуемой смертью: не знаю, каким это чудом мне удалось спастись.

— Впредь не нужно вам выходить из дому, принцесса, — ответила Гортензия, — поживите в этой комнатушке, пока не минет роковой срок вашего наказания; а чтобы вы не скучали, я куплю вам в ближайшем городе книжек, и мы станем читать новые сказки про фей и сочинять стихи и песни.

— Не трать понапрасну слов, дорогая, — ответила принцесса, — мне довольно думать о милом принце Воителе, чтобы приятно проводить время в четырех стенах; но та же злая сила, что днем превращает меня в лань, мне навязывает, вопреки моей воле, и привычки этих животных: я бегая, скачу и ем траву; днем мне не усидеть взаперти.

Погоня довела ее до полного изнеможения, и она попросила сразу подать ей ужин, а потом смежила свои прекрасные глаза до рассвета. С первыми лучами солнца она, как обычно, превратилась в лань и опять убежала в лес.

Принц тоже возвратился вечером к своему верному другу.

— Я провел целый день, — сказал он, — гоняясь за ланью, такой красивой, каких я никогда прежде не видел, но она все время обманывала меня с удивительной ловкостью, а стрелял я так метко, что не понимаю, как ей удавалось увертываться; я отправлюсь ее искать, чуть рассветет, и уж на этот раз ей от меня не уйти.

И вот юный принц, желая вырвать из сердца призрачный, как он думал, образ и довольный тем, что в нем вновь пробуждается страсть к охоте, впрямь отправился спозаранку туда, где накануне он спугнул лань, но она уже остерегалась этого места из боязни, как бы не повторилось вчерашнее приключение. Он всюду ее высматривал и, разгорячившись от долгих хождений по лесу, очень обрадовался, когда увидел яблоню с красивыми яблоками; он нарвал их и съел, а после растянулся на зеленой траве и заснул глубоким сном под щебетание птиц, которые словно сговорились там встретиться.

Принц спал, а тем временем наша пугливая лань, — она любила глухие места в лесу, — как раз проходила мимо. Заметь она его раньше, она наверняка тотчас бы убежала, но увидев принца уже совсем близко, она не удержалась и бросила на него быстрый взгляд, а услышав его сонное дыхание, стала бояться еще меньше и принялась неторопливо

его разглядывать. О боги! Что с нею сделалось, когда она узнала его! Пленительный образ принца слишком сильно поразил ее воображение, чтобы она так скоро его позабыла. Любовь, любовь, чего же ты хочешь? Неужели лань готова даже принять смерть от руки своего любимого? Увы, готова, и ее никак не убережешь. Она легла в нескольких шагах от принца и не сводила с него сияющих от радости глаз, вздыхала и тихонько стонала; наконец, совсем осмелев, подошла еще ближе и дотронулась до него как раз в то мгновение, когда он проснулся.

Принц был до крайности удивлен: он узнал ту самую лань, которую так долго преследовал, а потом так тщетно искал в лесу, но странно было, что теперь она совсем перед ним не робеет. Лань не стала дожидаться, пока он ее поймает, и со всех ног пустилась прочь, а принц со всех ног бросился за ней следом. Время от времени он останавливался, чтобы перевести дух, ведь он устал от вчерашней погони не меньше, чем красавица-лань, но более ее бег замедляло — ах! нужно ли говорить, что? — нежелание удалиться от возлюбленного, который сильнее ранил ее своими достоинствами, нежели пушенными в нее стрелами. Он видел, как она все время оборачивает к нему голову, будто спрашивая, хочет ли он, чтобы она погибла от его руки, но когда он было совсем настигал ее, то всякий раз, спасая свою жизнь, лань делала новый рывок вперед.

— Ах, малютка-лань, — кричал он ей вслед, — ты не бегала бы с такой прытью, если бы понимала меня: я же тебя люблю, я буду тебя кормить; ты прелестна, я хочу за тобой ухаживать.

Его слова относило ветром, и она не слышала их.

Наконец они обежали кругом весь лес, и наша лань в изнеможении двигалась все медленнее, а принц все стремительнее, и когда он настиг ее, то почувствовал такую радость, на какую уже почитал себя неспособным. Он видел, что бедняжка совершенно выбилась из сил: она упала, полумертвая от усталости, и ждала лишь смерти от руки победителя, но вместо того, чтобы сделать ей больно, он начал ее ласкать.

— Красавица-лань, — приговаривал он, — не бойся, я хочу тебя взять с собой, хочу, чтобы ты сопровождала меня повсюду.

Он нарезал древесных веток, ловко их согнул, а сверху положил мха и набросал роз, которые цвели когда-то на кустах, а затем взял лань на руки и, подержав ее плечом, осторожно опустил на это плетеное ложе, а сам сел с нею рядом и время от времени давал ей душистой травы, и она ела прямо у него из рук.

Принц продолжал разговаривать с ланью, хотя и был уверен, что она не понимает его, меж тем как ее, несмотря на радость свидания с принцем, все больше беспокоило приближение ночи.

— Что будет, — спрашивала она себя, — если он увидит, как я вдруг меняю облик? Он испугается и убежит, а если не убежит, бог весть какие ужасы могут со мной случиться — ведь я совсем одна в этом лесу!

Она подумала лишь о том, как бы спастись бегством, когда принц сам предоставил ей такую возможность: он боялся, что ей захочется пить, и пошел посмотреть, нет ли поблизости ручья, куда бы можно было ее отвести напиться; а пока он искал ручей, она быстро вскочила и побежала к домику, где ее ждала Гортензия. Она бросилась на кровать; меж тем настала ночь, и лань вновь обернулась девушкой и поведала подруге о своем приключении.

— Поверишь ли, дорогая, — рассказывала она, — мой принц Воитель сейчас здесь, в этом лесу: он-то два дня подряд и охотился за мною, а когда поймал, то был просто необыкновенно ласков. Ах, как мало говорит о нем тот портрет, который мне подарили! На самом деле он во сто раз краше: даже азарт охоты нисколько не портит его милого

лица, не лишает его неизъяснимой прелести. Как несчастна я, вынужденная бежать принца, суженого мне моими родными, принца, любящего меня и любимого мной! Верно, какая-то злая фея, возненавидев меня с первого дня моей жизни, омрачает и все остальные!

Она разрыдалась; Гортензия стала утешать ее и в конце концов убедила, что скоро горести ее сменятся радостями.

Тем временем принц обнаружил источник и тотчас вернулся к своей милой лани — но уже не нашел ее там, где оставил. Он искал ее всюду, но тщетно, и досадовал на нее так, будто она обладала разумом.

— Как! — восклицал он. — Неужели поводы для сетований только и будет всегда мне давать сей коварный и вероломный прекрасный пол?

Он вернулся к доброй старушке в глубокой печали и рассказал своему наперснику историю с ланью, обвиняя ее в неблагодарности. Гнев принца вызвал у Бекафига невольную улыбку, и он посоветовал ему наказать лань при первой же встрече.

— Только ради этого я задержусь здесь еще ненадолго, — ответил принц, — а затем мы поедем дальше.

С наступлением нового дня принцесса вновь обернулась белой ланью. Она не могла решить, что делать: отправиться ли в те места, где обычно бывал принц, или пойти совсем в другую сторону, чтобы с ним не встретиться? Она выбрала последнее и убрела далеко-далеко, но юный принц, не менее хитроумный, чем она, все равно ее выследил и достиг в самой часобе, рассудив, что она наверняка придумает какую-нибудь такую уловку. Лань чувствовала себя в полной безопасности, когда вдруг она заметила принца; ни минуты не медля, она перемахнула через кусты и понеслась прочь легче ветра, будто после вчерашней своей проделки страшилась его еще сильнее, но, улучив момент, когда она перебежала тропинку, принц метко пустил стрелу и попал ей в ногу. Ее пронзила ужасная боль, и, обессиленная, она упала.

Что же ты творишь, любовь, безжалостная и жестокая? Как могла ты позволить, чтобы несравненно прекрасную деву ранил ее нежный возлюбленный? Но печальный исход был неизбежен, потому что именно так положила закончиться этой истории фея Источника. Принц подошел ближе, и глубокая жалость охватила его, когда он увидел, что лань истекает кровью: он нарвал травы и перевязал ей ногу, чтобы облегчить боль, и снова сделал ложе из веток. Он положил ее головку себе на колени.

— Не сама ли ты виновата, маленькая ветреница, — говорил он, — в том, что с тобой приключилось? Чем я провинился перед тобою вчера, что ты меня бросила? Но сегодня уж так не случится: я тебя понесу.

Лань ничего не ответила, да и что бы она сказала? Она была виновата, а говорить не умела: ведь отнюдь не всегда справедливо суждение, будто кто виноват, тот помалкивает. Принц нежно ее ласкал.

— Как я мучаюсь оттого, что ранил тебя! — говорил он. — Теперь ты возненавидишь меня, а я хочу, чтобы ты меня любила.

Послушать его — казалось, какой-то таинственный гений внушает ему все то, что говорил он лани. Наконец настал час, когда пора было возвращаться к старушке-хозяйке: он взвалил на себя свою добычу, и пришлось ему немало потрудиться, пока он то нес ее на плечах, то вел за собою следом, а то и тащил волоком. Ей совсем не хотелось идти с ним.

— Что же будет со мной? — думала она. — Как же я останусь с принцем с глазу на глаз? Ах, лучше умереть!

Она нарочно давила на него всей своей тяжестью и мешала ему идти, так что он весь взмок от натуги, и хотя маленький домик был уже совсем рядом, принц понял, что в одиночку ему не справиться. Он решил

звать на помощь верного Бекафига, но прежде, чем оставить свою добычу, крепко привязал ее к дереву, чтобы она не убежала.

Ах, кто бы мог подумать, что принц, обожающий прекраснейшую из принцесс, станет когда-нибудь так обходиться с нею! Она пыталась разорвать путы, но тщетно, они лишь затягивались все туже и туже, а мертвая петля, как на беду, обвившаяся вокруг шеи принцессы-лани, задушила бы ее, если бы не Гортензия — ей наскучило все время сидеть взаперти, и, выйдя подышать свежим воздухом, она проходила в эту минуту близ того самого места, где в отчаянии билась белая лань. Что с нею случилось, когда она узнала свою милую госпожу! Она бросилась распутывать узлы, завязанные во множестве тут и там, — и как раз собиралась увести лань, когда появились принц с Бекафигом.

— Несмотря на мои почтительные чувства к вам, сударыня, — сказал ей принц, — позвольте воспрепятствовать вашему намерению похитить у меня эту лань: я ее ранил, она моя, я ее люблю, и умоляю вас оставить ее мне.

— Сеньор, — учтиво ответила Гортензия (а она была стройна и прелестна), — лань эта была моей задолго до того, как стала вашей, и я скорее откажусь от собственной жизни, чем от нее; если же вы хотите убедиться в том, насколько хорошо она меня знает, отпустите ее на минутку... Ну-ка, Беляночка, — сказала она, — обнимите меня.

Лань осыпала ее нежностями.

— Поцелуйте меня в правую щеку.

Лань поцеловала ее.

— Покажите, где у меня сердце.

Лань коснулась ножкой ее груди.

— Вздохните.

Она вздохнула.

Принц не мог более сомневаться в том, что Гортензия говорила правду.

— Возвращаю ее вам, — заявил он, повинувшись голосу чести, — но, поверьте, с немалым сожалением.

И Гортензия тотчас ушла со своей ланью.

Они не знали, что живут под одной крышей с принцем; меж тем он последовал за ними, держась на довольно большом расстоянии, и очень удивился, когда увидел, что они входят в домик доброй старушки. Он вернулся сразу после них и, разбираемый любопытством ко всему, что касалось белой лани, начал расспрашивать старушку о ее молодой постоялице. Та ответила, что не знает эту особу, а просто пустила ее к себе вместе с ланью: платит она хорошо, а живет очень уединенно. Бекафиг осведомился, где их комната, и старушка сказала, что они соседи и разъединяет их только перегородка.

Когда принц вернулся к себе в комнату, Бекафиг сказал ему, что или он жесточайшим образом ошибается, или эта девушка — приближенная принцессы Желанной, и он видел ее во дворце, когда ездил туда с посольством.

— О, сколь губительные воспоминания пробуждаете вы во мне! — ответил принц. — Как же она могла здесь оказаться?

— Не знаю, сеньор, — ответил Бекафиг, — но мне хочется еще разок на нее взглянуть: нас разделяет лишь дощатая перегородка, и я проделаю в ней отверстие.

— Пустое любопытство, — грустно отозвался принц, потому что слова Бекафига оживили все его печали. И действительно, он растворил окно, выходящее в лес, и погрузился в мечты.

Но Бекафиг принялся за работу и вскоре просверлил отверстие, через которое увидел прелестную принцессу: она была в платье из

серебряной парчи с ярко-розовыми цветами, отделанными золотой нитью и изумрудами, ее волосы вились крупными локонами и ниспадали на прекраснейшие в мире плечи, на щеках играл яркий румянец, а глаза были совершенно пленительны. Гортензия стояла перед ней на коленях и перевязывала руку, из которой обильно текла кровь, и рана эта, казалась, тревожила их обеих.

— Дай мне умереть, — говорила принцесса, — смерть будет для меня отраднее той жалкой жизни, которую я влачу. Как целый день быть ланью, видеть своего суженого, сознавая, что не можешь заговорить с ним, не можешь ему поведать о своем роковом несчастье! Ах, если бы ты знала, как трогательно и каким голосом он со мной разговаривал, когда я была ланью, какие у него благородные и приятные манеры, ты бы пожалела меня за то, что я не могу рассказать ему о своей судьбе, еще больше, чем жалеешь сейчас.

Легко вообразить удивление Бекафига, когда он увидел и услышал все это; он бросился к принцу и в порыве неизъяснимой радости оттащил его от окна.

— Ах, сеньор, — воскликнул он, — скорее подойдите к перегородке: вы увидите оригинал того портрета, что вас так очаровал.

Принц заглянул в отверстие и тотчас узнал свою принцессу; он бы умер от счастья, если бы не опасался какого-нибудь обмана и колдовства: как же тогда в конце концов истолковать столь неожиданную встречу с Колючкой и ее матерью, которые назвались одна — принцессой Желанной, а другая — ее статс-дамой и ныне находились в Трехбашенном замке?

Но любовь обнадеживала принца: всякий, естественно, склонен принимать желаемое за действительное, а тут дело оборачивалось таким образом, что оставалось или умереть от нетерпения, или все немедленно выяснить. Он пошел к двери, ведущей в комнату принцессы, и осторожно постучал. Гортензия, уверенная, что это старушка-хозяйка, а она и сама собиралась ее позвать, чтобы та помогла перевязать руку госпоже, поспешно распахнула дверь и замерла от удивления, увидев принца, который тут же бросился к ногам Желанной. От избытка чувств речь его стала почти бессвязной, и как ни старались мы разузнать, что же он говорил ей в те первые мгновенья, не нашлось решительно никого, кто бы мог нам вразумительно ответить. Принцесса говорила не менее сбивчиво, но любовь, которая часто помогает объясняться немим, вмешалась и на сей раз, и убедила обоих, что никогда еще они не говорили так умно или, во всяком случае, так трогательно и нежно. Было все: слезы, вздохи, клятвы и даже несколько ласковых улыбок. Так прошла ночь, и, не заметив, как рассвело, принцесса Желанная уже не обернулась ланью. Радость ее, когда она это поняла, не имела пределов: слишком любя принца, чтобы тотчас не разделить с ним свои чувства, она начала повесть обо всем, происшедшем с нею, и рассказывала ее с таким изяществом и непринужденным красноречием, каких не дает Господь и заядлым говорунам.

— Как, прелестная принцесса, — воскликнул принц, — так это вас я ранил в образе белой лани! Чем же мне искупить столь ужасное преступление? Довольно ль будет умереть от горя у вас на глазах?

Он был так удручен, что каждая черта лица его отражала глубину его огорчения. Принцессе Желанной это оказалось мучительней, нежели боль от раны, и она заверила принца, что рана ее ничтожна и что ей лишь сладостно зло, обернувшееся для нее таким благом.

Она говорила так ласково, что принц не мог более сомневаться в ее расположении. Он, в свою очередь, тоже решил все прояснить и рассказал, как пытались его обмануть Колючка со своей матерью, а

потом добавил, что нужно поскорей известить короля, его отца, об их счастливой встрече, ибо почитая себя оскорбленным и возжаждав мести, король готовился к войне не на жизнь, а на смерть. Принцесса попросила послать ему письмо с Бекафигом, и тот уже собирался тронуться в путь, когда лес огласился пронзительным пением труб и горнов, звоном литавров и барабанным боем; им даже показалось, что совсем рядом с домиком слышен топот шагов многих тысяч людей. Принц выглянул в окно и узнал нескольких рыцарей, узнал свои знамена и вымпелы; он приказал войску остановиться и ждать его.

Никто и никогда не испытывал такого приятного удивления, как ратники принца Воителя: все были в полной уверенности, что он хочет повести их в бой и отомстить отцу принцессы Желанной. Пока что войско возглавлял король-отец, несмотря на свой преклонный возраст. Он передвигался в бархатном паланкине, расшитом золотом, а за ним ехала телега, на которой везли Колючку и ее мать. Увидев паланкин, принц подбежал к королю, бросился в его распростертые объятия, и тот сомкнул их со всей отеческой любовью.

— Откуда вы, милый сын? — воскликнул король. — Как могли вы обречь себя на такие страдания, уехав от нас?

— Государь, — ответил принц, — соблаговолите меня выслушать.

Король тотчас вышел из паланкина, и, уединившись с ним в таком месте, где их никто не слышал, принц рассказал ему о счастливой встрече и о мошенничестве Колючки.

А можно ли ее скрывать?
Вам верной кажется защитой,
Что вы, любимая, не любите сейчас,
Но как опасен пламень скрытый,
Взгляните на него — и он зажжет и вас.

Перевела с французского И. Нинова

Ирина Нинова (1958—1994) — литературный переводчик, филолог. Переводила с английского и французского языков. Основные переводы: роман Гертруды Стайн «Автобиография Б. Токлас» („Нева“, 1993, №№ 10—12), пьесы Э. Ионеску, очерки А. Дюма, новеллы О. Вилье де Лиль-Адана, эссе и статьи А. Камю, В. Набокова, И. Бродского, Р. Конквеста и др.

ДОГОВОРИТЬ ДО КОНЦА

Казалось, имя этого человека не было под запретом. Оно упоминалось в художественной литературе, очерках, газетных статьях. Но в строго определенном контексте... Конечно, культ личности был вреден и пострадали многие невиновные люди. Кстати, что значит «многие»? Но это ерунда по сравнению с военными успехами и грандиозными стройками. Правда, еще Ленин предупреждал в «Письме к съезду», но тот самый человек, о котором вменялось рассуждать в контексте, игнорировал. Плохо игнорировать Ильича, но у человека были нестигаемая воля, могучий авторитет и он, что ни говорите, последовательно отстаивал и защищал...

Особенно строги были авторы школьных и вузовских учебников. Как сейчас помню: «Да, репрессии были, но сущность советского государства от этого не изменилась». Жуткая, если вдуматься, формулировка. Сущность не изменилась. Думать студентам и школьникам вменялось не выходя за рамки. Учителя и лекторы строго водили пальцем перед детско-юношескими носами.

Иногда человек появлялся в художественном кинематографе. Сдержанный, строгий, внушающий почтение. Его играл очень талантливый грузинский актер.

И документальные ленты охотно показывали. Тот самый в окружении президента и премьер-министра. В середине. А президент и премьер-министр по бокам. Вон как его уважали!

Короче, Хрущев начал, не довел до конца, скатился ко второму (собственному) культу, а при третьем культе Сталина реабилитировали. Позже многих из его жертв, которых Хрущев успел реабилитировать, но раньше гораздо большего числа уничтоженных, которых миловать посмертно не успели, не хотели.

Гласность хороша чем? Неожиданностью. Ну кто бы мог подумать несколько лет назад, что сейчас будут печатать ТАКОЕ? Шлюзы приоткрыли, и потекло. Многочисленные публикации в газетах и толстых журналах.

Получается любопытно. Непрофессионалы, авторы писем в редакции отвергают полутона. Либо «Сталина на вас нет!» и «Ах, какой был порядок!» либо «Казнить посмертно эту сволочь!». Что касается профессионалов — писателей, публицистов, журналистов, то мы обязаны поблагодарить тех, кто называет вещи своими именами: И. Бестужев-Лада. «Правду и только правду» ("Неделя", 1988, N 5), Е. Носов. «Что мы перестраиваем?» ("Лит. газета", 20 апреля 1988, N 6), Т. Иванова. «Вот придет барин» ("Огонек", N 16, апрель 1988), А. Ваксберг. «Процессы» ("Лит. газета", 4 мая 1988, N 18), Ю. Карякин. «„Ждановская жидкость“» или против очернительства» ("Огонек", май 1988, N 19), М. Капустин. «От какого наследства мы отказываемся?» ("Октябрь", N 4, 1988), М. Глинка. ("Ленинградская правда", 16 июля 1988), А. Рыбаков. «Тридцать пятый и другие годы» ("Огонек", 1988, NN 30 — 35), Ю. Семенов. «Ненаписанные романы» ("Нева", 1988, N 6), Фицрой Маклин. «Черный процесс» ("За рубежом", 1988, N 26), А. Латынина. «Поднявшиеся из ада» (о лагерной прозе — „Лит. газета“, 13 июля

1988, N 28). Публикаций на эту тему в последнее время стало так много, что боязно продолжать. Вдруг кого-нибудь пропустишь... Прошла Неделя совести на Московском электроламповом заводе, продолжается сбор денег в пользу Мемориала, по телевидению реабилитированные постоянно дают интервью.

Но одновременно функционирует особая категория литераторов. То ли выжидающих, то ли сговорившихся. Как в тех самых учебниках для высших и средних учебных заведений... С одной стороны, с другой стороны... Нельзя писать только белой или только черной краской....

Особенно характерны в этом отношении статьи Д. Волкогонова «Феномен Сталина» ("Лит. газета", 9 декабря 1987, N 50) — первая публикация по обсуждаемой проблеме, а также Б. Чистякова «Урок для всех поколений» ("Смена", N 15, 1988). И у писателя Ю. Бондарева в статье «Боль и надежда» ("Лит. газета", 22 июня 1988, N 25). Сталин вызвал, какие вы думаете, чувства? Совершенно верно. Противоречивые.

Знаменитую статью в газете «Советская Россия» дамы, которая не может поступиться принципами, воспринимать тяжело. Неизвестно кто ее писал, и как-то странно «статья» уложилась в газетную полосу.

Вобщем, при всем обилии разнохарактерных материалов, остается ощущение недоговоренности. «Огромный объем информации о годах минувших — все это многих не убеждает» (В. Амлинский в очерке о Молотове «Тень» — «Лит. газета», 7 сентября 1988, N 36).

Общий тон: Сталин — гениальный злодей. Такое впечатление, что мы побаиваемся мертвого Сталина и пытаемся замаслить, ублажить покойника. Наберемся духу и выпалим: «Эх, злодей!». Но тут осекаемся: «Но талантливый злодей!», или: «Какой же он замечательный негодяй!». Даже Е. Носов в своей с такой болью написанной статье «Что мы перестраиваем?» ("Лит. газета", 20 апреля 1988, N 16), оценив вожда без оговорок, вдруг... пожалел его. Тот, дескать, был «одиноким, глубоко несчастным человеком». ...Ах, бедненький! Да он, вообще, не был человеком. И не только потому, что являлся глубоко отрицательным персонажем. Инквизитор был, но бывают ли инквизиторы великими?

А М. Шатров, занимающий такую прогрессивную позицию, заметил вдруг, что Сталин был «совсем неглупый человек...». Эка невидаль! Люди, грубо говоря, делятся на умных и глупых. И такое ли уж достоинство для руководителя государства не быть дураком? Хотя, увы, бывает.

В одной телепередаче дискутировали преподаватели общественно-политических наук ленинградских вузов. Один из них заявил: «Молодежь желает знать, был Сталин порядочным или не порядочным человеком?» и добавил: «Я не спорю с тем, что Сталин был марксистом».

Во-первых, марксизм и порядочность не синонимы. Вспомните Пол Пота из Кампучии, Иди Амина из Уганды, потопивших в крови свои страны. А наш соотечественник Берия? Все они уверяли мир, что являются марксистами, а Лаврентий Павлович на собственном судебном процессе в последнем слове попросил сохранить ему жизнь, так как, учитывая его организаторский талант, «он может принести пользу родной партии...» (Документальный фильм «Повесть о маршале Коневе»). Не секрет, что знаменами марксизма размахивают часто те, кто попросту рвется к власти. А, во-вторых, выступавший по телевидению так и не ответил на поставленный им самим вопрос. Побоялся назвать Сталина не порядочным.

Вроде бы, чего уж бояться? Пожилые люди, вспоминая тридцатые годы, подчеркивают, что тогда они не знали о лагерях, но, читая славословящую вождю прессу, поразились, как «порядочный человек» позволял печатать про себя такое.

К. Симонов в документальной повести «Глазами человека моего поколения» ("Знамя", 1988, № 3) писал: «Подумать только, что и Ежов, и этот выродок Берия — все это были только пешки в его руках, только люди, руками которых он совершал чудовищные преступления! Каковы же масштабы его собственных злодеяний, если мы об этих пешках в его руках с полным правом говорим как о последних злодеях?»

Такие дела! С одной стороны — «последний злодей», а с другой — никак не можем понять «порядочный или непорядочный». Боймся отменить высшую меру наказания для уголовников, лишивших жизни только одного человека, а для убийцы миллионов все ищем оправдания, пытаемся найти в его поступках противоречия.

Сдается, писательской рукой кто-то или что-то водит. Если кто-то — не знаем, а если что-то — вероятно, сидит в нас внутренний цензор, инерция страха. Это объяснимо. Ситуацию мы не контролируем. Сейчас разрешено, а потом придут наверх другие и запретят. Так что подождем. Чего рисковать? Или и люди ждут указаний. Теперь о Сталине надобно писать следующим образом, расценивать его надо вот эдак, а не иначе. Но те, от кого ждут указаний, еще их не выработали.

Прежде чем разбирать проблему, ее надо поставить. Но тут иные прагматики задают вопрос: «А зачем это надо?». Такая постановка вопроса сама по себе, подлая. Когда у нас умирает родственник, мы же не ставим вопрос, зачем ставить памятник или зачем ухаживать за могилой? То есть, когда умирает один человек, его забывать непорядочно, а когда уничтожают миллионы, то «зачем это надо?». В конце концов, сколько можно повторять, что это надо для того, чтобы избежать повторений. А может быть, углубление в историю угрожает вашему благополучию? А если вы сами были соучастниками этих преступлений?

Другие более категоричны. Они не ставят вопрос, а дают ответ. Не надо очернять свою историю. Это вредно для воспитания молодежи. Никто не очерняет историю, как мы.

Во-первых, это неправда. Собственную историю, до последнего времени, никто так не обелял.

Во-вторых, мы знаем, чем кончилось воспитание молодежи на положительных примерах. Потоки слащавой лжи породили поколение фарцовщиков, спекулянтов, циников. Да, именно замалчивание истории, а не только дефицит товаров широкого потребления. В довершение ко всему появились фашисты (телепередача «Взгляд» от 7.07.88 г.). А что вы хотите? Молодежь уверяют, что маршал на Малой Земле сыграл выдающуюся роль в исходе Великой Отечественной войны, но, простите, и без современных разоблачений было ясно, что фигура дутая. А писатель В. Конецкий возмущается по телевизору, что молодежь не читает В. Некрасова. И правильно возмущается. И неправильно... Возмущаться надо по адресу. Ведь В.П. Некрасова не печатали, а «Малая Земля» входила в обязательную программу.

Ю. Феофанов в статье «Грузчик Иван Демура в схеме Нины Андреевой» ("Известия", № 110, 19.04.1988) также обращает внимание на опасения Нины Андреевой по поводу «гипертрофированного» восприятия молодежью темы репрессий... Феофанов прав. Действительно, то ли удивляться, то ли возмущаться? Если молодой человек идет на Пискаревское кладбище или едет в Хатынь почтить память жертв Великой Отечественной войны, то это достойно, а если его интересуют жертвы внутренних репрессий, то это «гипертрофированно».

Другие полагают, что обнародование трагических фактов нашей истории подрывает престиж страны. Это ложное понимание патриотизма. Высылка из страны А.И. Солженицына и А.А. Галича — писателя и поэта, посвятивших свое творчество разоблачению сталинизма, сделан-

ших это талантливо и честно — больно ударила по нашей репутации. Нас обвинили в замалчивании и, в связи с Солженицыным, некоторые страны, например Голландия, даже прислали официальный протест.

Как утверждает Н. Эйдельман, «в истории каждого государства есть страницы героические и постыдные, и стыдно скрывать последние».

Но многочисленным адвокатам генералиссимуса не стыдно. Они упорно утверждают противоречивость в злодеяниях примитивного сатрапа. И приводят «доводы». Какие же?

Надо было создавать тяжелую индустрию, а рабочих рук не хватало. Академик Б.И. Медовар так примерно и заявил, выступая в телевизионной передаче «Процесс». Индустрии в стране не было. Инфраструктуры тоже. Следовательно, убеждениями заставить работать нельзя. Только силой... Когда такие вещи пишет в редакцию журнала «Огонек» некто Разбухаев, то бог с ним. Может быть, человек просто не в курсе дела. Но от академика страшно слышать подобное. Неужели человек, обремененный учеными степенями, не понимает, что добровольный труд эффективнее эксплуатации «заключенного раба»? (Определение, вложенное М. Шатровым в уста С. Орджоникидзе, в диалоге последнего со Сталиным. Из пьесы «Дальше... дальше... дальше!») Зачем заставлять силой работать, тем паче в те времена, когда люди, преисполненные верой, и без того готовы были безоглядно вкалывать. Да и сейчас беда наша не в том, сколько мы работаем, а в том, как работаем. Производительность труда наша низкая, потому, в первую очередь, что люди обленились, а потому что заставляют их делать безграмотные вещи плюс рутинная бумажная надуманная работа. Это следует подробно объяснить тем, кто видит в реанимации лагерей способ восстановления экономики. Так экономисту загубим окончательно. Вот отстаем мы серьезно в электронике, так неужели этапированный за колючую проволоку создаст лучшую электронно-вычислительную машину, чем высокооплачиваемый работник из хорошо оснащенной лаборатории? Да, Беломорканал можно было вырыть зубами, коль не жалко гробить людей. А если врачей хороших не хватает? Что же? Передислоцировать медицинские вузы на Колыму!? Дать всем в руки по лопате? Тогда лечить научатся? Да не разучились мы еще работать кирками и топорами. Головами — разучились! Только дав людям возможность творчески самостоятельно трудиться в условиях естественных экономических отношений, реально исправить положение. Но это другая тема. Вернемся к Иосифу Виссарионовичу.

Сталин был хорош, считают многие, потому что его боялись и уважали. Не в пример Брежневу.

Что и говорить. Убийственный довод! Особенно для воспитания молодежи. Человек достойный, которого боятся.

Сталин был аскет, уверяют другие. И не позволял воровать!

Странный аргумент. Во-первых, это не совсем точно. Сталин держал рядом с собой хищных Берию и Абакумова, а бескорыстного Бухарина уничтожил. Вероятно оттого, что, кроме всего прочего, выгоднее было иметь дело с людьми, на которых не надо собирать досье. Оба с готовым компроматом на самих себя. Грязные биографии, грязные привычки. Наивно считать, что коррупция — приобретение времен застоя. Во-вторых, что это за критерий оценки человека, вообще, и политического деятеля, в частности? Какая разница, любит ли, в конце концов, человек много заработать, вкусно поесть, хорошо одеться? Выходит, не слишком роскошествовавший Гитлер был положительным героем, а гурман Луначарский, не отказывавшийся от излишеств, даривший жене бриллианты, — наоборот. Вспоминается анекдот: 1917 год, Петроград. Внучка одного из декабристов прогуливается со служанкой по городу. Вдруг

видит: бегут солдаты, матросы, рабочие. Кричат. Внучка декабриста просит служанку узнать у бегущих, в чем дело? Та догоняет толпу. Беседует с кем-то. Возвращается и говорит: «Госпожа! У них революция!» — «И что же они хотят?» — «Хотят, чтобы не было богатых». — «Странно. Мой дедушка хотел, чтобы не было бедных». Так и мы. Людей не жалко. Больше раздражаемся чужому богатству, чем ужасаемся чужой бессмысленной смерти.

Распространено мнение, что Сталин выиграл войну. Точнее, без Сталина ее бы не выиграли.

А вот это к слову о клевете. Есть ли способ страшнее оклеветать соотечественников, чем всерьез считать их беспомощными, неспособными ничего делать без одного конкретного начальника? А ведь сторонники Сталина-полководца громче всего кричат об опорочивании миллионов советских людей. А можно ли больше опорочить миллионы, нежели полагая, что они не смогут самоотверженно, умело воевать, героически трудиться в тылу без указаний одного?

Нас уверяют: наивный Сталин чересчур полагался на Ежова и Берия, не ведая, что те вытворяют. Но позвольте! Еще в школе учителя предостерегали нас от наивных сказок про добренького царя, не знающего о жестокости помещиков-крепостников.

Некий читатель журнала «Советский экран» (№ 12, 1988) упрекал «беков, зубров, арбатов» в профессиональной несамостоятельности. Если бы не Сталин, сеидели бы те без работы. Он им хлеб дал. И роются в архивах, пишут. И так далее.

Намек ясен. Выходит, что В. Быков, Вяч. Кондратьев, В. Астафьев, Э. Генри, Г. Чухрай и многие другие состоялись как художники, творцы благодаря Гитлеру. Это он их, так сказать, обеспечил фронтом работ.

Вот перечисляли мы престалинские «теории», а ничего толкового не перечислили. Нет серьезных аргументов. Зато раздаются угрозы. Выносятся предложения о проведении карательных мероприятий. Сослать «евтушенок, окуджав и рыбаковых куда следует!»

Что ни говорите, а сталинист — это не тип политических убеждений. Это тип человека. Ну не нравится людям, когда пишут, сочиняют музыку, чертят, влюбляются, просто живут как люди. Не нравится, когда сидят и читают. А нравится, чтобы все в ватниках в сорокаградусный мороз на лесоповале. И, непременно, бегом! А в перерывах на корточках!

Уверен, что в ФРГ и ГДР есть такие же поклонники порядка, которые повторяют слово в слово за нашими соотечественниками, заменив фамилию Иосифа Виссарионовича на фамилию фюрера третьего рейха. Есть и в других странах. Безымянная старушка из романа польского писателя Ежи Стависского «Час пик» кричала строителям, перекуривающим в неполаженное время: «Гитлера на вас нет!» Похоже, правда?

... Убили человека. Из хулиганских побуждений, с целью ограбления, на почве ревности. Такие действия квалифицируются как уголовное преступление. Совершают их уголовные преступники. И приговариваются они к длительным срокам лишения свободы. А, возможно, к исключительной мере наказания. Особенно в случае рецидива подобных преступлений. Особенно при наличии отягчающих обстоятельств. Прокурор произносит обличительную речь. Выступает пресса. Попутно она гневается. Мерзавец, дескать, лишил жертву главного права человека — права на жизнь. А если есть смягчающие обстоятельства (трудное детство, состояние аффекта, самооборона), и адвокат умело оперирует ими, то сократят срок, но все равно посадят.

А еще в нашей стране расстреливают за экономические преступления. Клеймят расхитителей и спекулянтов, взяточников.

Иногда выясняется, что некомпетентные или нечестные следователи лишили свободы невиновного. Постфактум его реабилитируют. Но жизнь сломана.

А еще у нас любят ругать преступников. Инфантильных мужчин и неженственных женщин, студентов, прогуливающих лекции, спортсменов, зазря получающих зарплату у государства, инженерно-технических работников, спящих на службе, молодежь, слушающую не ту музыку и допускающую вольность в одежде, прическах. Нельзя воровать, спать на работе, вступать в брак с иностранцами по расчету, смотреть по видеоманитофонам неположенные фильмы. Это возмутительно! Все возмущены.

А вас не возмущает неадекватность реакции? Беспощадность к порокам и мелким недостаткам одновременно с попытками найти историческую необходимость в истреблении миллионов людей?

А знаете, чем убийцы-уголовники часто мотивируют свои действия? Раз государству (Сталину) можно было уничтожать людей, почему мне нельзя? Оправдание преступлений, совершенных наверху, провоцирует уголовную преступность в низших слоях общества.

Нас не может удовлетворить также отсутствие серьезного, обстоятельного разбора причин, породивших систему, сталинизма. Попытки обдумать явление в литературе, публицистике не вполне убедительны. «Что касается критики самого Сталина, только сейчас она возвышается до серьезного анализа установленного им политического и идеологического режима» (Ф. Бурлацкий. «Брежнев и крушение оттепели» — в «Лит. газете», N 37 от 14 сентября 1988г.)

Пожалуй, еще не возвышается, а пробует это сделать. Д. Волкогонов в своей, уже упоминавшейся статье «Феномен Сталина» писал: «Сталин выдвинул ошибочный тезис об обострении классовой борьбы». Это теория из застойных времен. Очень удобно все объяснять промашками. Сталин не ошибался, а искал повод для расправ. Таким поводом могли быть и классовая борьба, и убийство Кирова, и необходимость коллективизации под предлогом того, что русским крестьянам чужд индивидуализм. (Так считает А. Рыбаков, пытаясь размышлять за Сталина в «Детях Арбата».) Вряд ли Сталин был искренен, думая о неприятии крестьянством индивидуализма. Это, опять-таки, был повод для проведения коллективизации. В крайнем случае, попытка оправдаться перед собой, если такой человек вообще способен был оправдываться. Даже перед собой. Тот же А. Рыбаков уверен, что Сталин никогда не оправдывался, даже поставил перед собой задачу не делать этого ни при каких обстоятельствах ("Тридцать пятый и другие годы"). В то же время писатель приписывает Сталину убежденность в том, что люди должны страдать. Бог создал человека для мук, а не для развлечений. Эта идея известна из различных религиозных и политических концепций. Есть свежий пример. Аятолла Хомейни посылал на ирано-иракский фронт шестнадцатилетних парней. Пусть гибнут! Вот смерть, достойная мужчины! В конце концов, будут им ключи от рая. Но только в обмен на жизнь.

Так ведь Сталин не был ни мусульманином (как Хомейни), ни христианином, ни наставником камикадзе. Это известно, неизвестно другое. Был он искренен в своих деяниях, то есть считал, что ТАК НАДО для построения социализма? Это распространенное мнение, высказанное, в частности, Н.С. Хрущевым на XX съезде. Либо Сталин был циничен, а — иначе, рвался к власти, абсолютной власти, уничтожая всех и все мешавшее. Д. Волкогонов в «Триумфе и трагедии» («Ок-

тябрь», №№ 10—12, 1988 г.) постоянно повторяет: «Сталин не сомневался», «Сталин был уверен» и в таком духе.

Так все-таки? Сталин был убежденный человек, то есть действительно считал, что диктатура приоритетна перед демократией, либо все прекрасно понимал, а возможно, простите, на все плевал, действуя только во имя укрепления собственной власти. Ведь тот же Волкогонов пишет: «Как видим, Сталин умел отвечать вроде бы „правильно“. Но это совсем не значило, что эти слова были его убеждениями» ("Октябрь", 1988, N 11). Так были убеждения или просто безумная жажда власти?

Почему характер Сталина сформировался таковым? Откуда подобное пренебрежение к человеческой жизни, к человеческому достоинству? От природы, или сказались годы, проведенные в ссылке? Отметим, что ссылки, в которых побывал Сталин, носили курортный характер по сравнению с теми условиями, в которых сгнивали, пропадали политзаключенные 30-х, 40-х, 50-х годов.

Вопрос о мотивации сталинских поступков остается открытым. А думаться, любой ответ страшен. Если все объяснить жадной властью и списывать на расхожее убеждение «что взять с этого маньяка?», так почему же допустили, что мерзавец (сумасшедший?) столько лет был во главе? А если «ТАК НАДО», то совсем скверно. Это приговор системе. Ну, положим, приговаривать систему и решать глобальные проблемы в состоянии не каждый. Да и не всякий имеет право. А вот назвать Сталина, как он этого заслуживает, мы обязаны. Без всяких оговорок. И это уже сделали, к примеру, И.Р. Шафаревич, нарекший Сталина «чудовищем» в статье «Логика истории» ("Московские новости", N 24, 12 июля 1988), Ф. Искандер, съязвивший «большеусый — вурдалак» в рассказе «Харлампо и Деспина» ("Юность", 1988, N 2). Впрочем, Шафаревич истоки явления видит не в коварстве генералиссимуса, и главной считает необходимость разобраться в причинах, как и Н.Я. Эйдельман (статья «Сталинский гипноз» в «Московских новостях», N 30, 24 июля 1988).

Эпитеты не режут слух, а талантливое остроумие — не зубоскальство. Жанр может быть любым. Главное — договорить до конца. Даже если выводы будут самыми неутешительными. Тогда придет и серьезный анализ! Д. Кугультинов в очерке «От правды не отрекался» ("Огонек", 1988, N 35) ссылается на книгу Этьена Ла Бозси «Рассуждение о добровольном рабстве». Тот полагал, что родившийся в рабстве считает его естественным состоянием и держится за него двумя руками...

Есть такая расхожая фраза: «Мы в долгу перед мертвыми». Так вот, если перед жертвами Великой Отечественной войны мы в долгу, то перед жертвами внутренних репрессий мы в бездонной долговой яме. И об этом надо писать и говорить. Не только из-за боязни того, что незнание истории приводит к ее повторению. Оставим эти прагматические расклады. Мы обязаны помнить трагедию. По той простой причине, что это было изуверское и ничем не оправданное истребление людей. Потому что это были человеческие страдания, которые невозможно себе представить, по которым не возбраняется плакать, кричать и убиваться...

И вещи надо называть своими именами, а не оправдывать свои преступления чужими: а у них были фашизм, маккартизм и атомная бомбардировка. Потому что человеку, умирающему на Колыме от дистрофии и цинги, не легче от того, что кого-то калечат в гестапо. Потому что умирать в лагере, гибнуть от рук палачей-соотечественников страшнее, чем от пули врага на фронте. Особенно когда тебя попрекают: там люди гибнут на фронте, а ты филонишь в тылу. Сачок!

Мы обязаны помнить великую беду своей страны, если еще не совсем потеряли совесть.

Многие считают, что пора оставить эмоции и перейти к фактам. Факты — вещь необходимая. Мы многое узнали о 1937 и 1939 годах, о судьбах Вавилова и Бухарина, «деле врачей», о Берии и Ежове, о военнопленных, но как мало мы знаем о «шахтинском процессе», СМЕРШе, Абакумове, Деканозове, Кобулове... Ох, сколько мы еще не знаем!

А от эмоций отказываться нельзя, да и, вообще, невозможно. Сколько их можно регулировать? Это в прежние времена эмоции возникали директивно: «Требуем казнить троцкистско-бухаринских гадов!», «Одобряем решения такого-то съезда!» А теперь издаются циркуляры: «Оказался наш отец не отцом, а сукою». Слава богу, еще есть не только циркуляры, но и настоящие эмоции.

Другие говорят: «Надоели эти разоблачения. Кто хотел, и так все знал».

Не все стремившиеся узнать историю могли получить информацию. Мы не имеем права останавливаться. Нужны открытые архивы, памятники, День скорби, книги Солженицына, эмоции и факты. Нужно назвать точное число жертв и раскрыть весь механизм уничтожения. Школьники и студенты должны учиться по серьезным учебникам истории, а не по наставительным книжонкам со странным названием «учебное пособие». Дескать, пособим ребятам выучить историю, как положено...

В статье «Открой человека» ("Лит. газета", N 30, 27 июля 1988) Лариса Васильева укоряет Е. Евушенко в том, что он нетерпимо требует от всех терпимости, и одновременно Ю. Карякина за «дух жестокости» в его статье «Ждановская жидкость...». Вроде бы метко, а вроде... А почему бы и нет? Почему не признать, что люди делятся на терпимых и нетерпимых. Никто не станет ругать нас за непримиримое отношение к подонкам с нарукавной свастикой (телепередача «Взгляд» от 7.07.88). А почему мы должны терпимо относиться к тем, кто лепит портреты палача на ветровые стекла автомобилей, и философски относиться к мнению, что на эти портреты можно смотреть терпимо? Упаси нас господь призывать к судилищу и расправе. Мы можем пожалеть, понять старых людей, ходивших в атаку с именем Верховного. Это их трагедия, поскольку Сталин предал веру людей. Но снисходительно смотреть на недорослей, не понимающих, что «порядок» только разваливает экономику, уродует людей, противоречит развитию общества, по-моему, рискованно.

Почему во время процесса по делу об иске И.Т. Шеховцова, требовавшего защиты чести и достоинства, Сталина, истец держался уверенно, спокойно смотрел в глаза судьям, ответчикам, телезрителям и нахально требовал доказательств преступлений сталинизма? Как будто у него самого есть доказательства, что хотя бы один из миллионов репрессированных был в чем-то виноват, чья-то вина доказана юридически; что позволяет таким людям в период разоблачений не пытаться, хотя бы, спрятаться? Почему талантливые, честные Адамович, Карякин во время процесса так волновались? Ведь правда на их стороне. Почему Адамович виновато и как-то заискивающе называл Шеховцова «Иваном Тимофеевичем», а в конце подал первым руку оппоненту?

...Фашизм уничтожал людей. Под лозунгами человеконенавистничества. Сталинизм делал то же самое, прикрываясь красивыми лозунгами. Сталин оказался похитрее. Хотя бы тем, что догадался не задокументировать на киноплёнку отечественные лагеря. В отличие от Гимmlера, легкомысленно позировавшего в Бухенвальде (из фильма М. Ромма «Обыкновенный фашизм»). «Он (Сталин) ведь не оставлял улики, воспрещал, как известно, даже стенограмму произносимых бессмертных

слов, будто чувствуя неизбежный грядущий суд потомков» (Олег Мороз. «Последний диагноз» — «Лит. газета», N 39, 28 сентября, 1988).

...«Антисталинская система начинает в чем-то двигаться по кругу, не проникая в глубину, начинает девальвироваться» (М. Дементьева. «Неодолимость истины» (беседа с М. Шатровым) — «Огонек», N 45, ноябрь 1988).

Руководителям государства, вероятно, надо четко охарактеризовать Сталина. Высказывания с высокой трибуны типа: «Мы осуждаем сталинизм» — звучат невнятно. Нас ведь не удовлетворяет формулировка: «Мы осуждаем фашизм». Мы его ненавидим и клянемся не допустить впредь. Сталинизм заслуживает того же. В купе с его основоположником.

«На свете нет ничего более низкого, чем намерение »забыть" эти преступления" (из письма В. Шаламова Б. Пастернаку от 8 января 1956 — «Юность», 1988, N 10).

Сейчас распространено мнение, что перестройка будет реализована, если удастся изменить психологию людей. В культе личности виноват не Сталин, а это самая психология. Это мнение, как говорил сатирик, «в основном верное, но по существу ошибочное». Ведь сейчас культа нет, в то время как люди вовсе не стали отважнее, бескомпромисснее. Еще совсем недавно мы все вокруг одобряли и приветствовали «лично Леонида Ильича». Вдруг перестали. Стали такими честными? Нет. Это не наша заслуга. Просто больше позволено. Конечно, психологию надо менять, но это длительный процесс. Система определяет человека. Люди во все века делились и будут делиться на умных и глупых, на щедрых и жадных, безоглядных и осторожных. Смешно требовать от всех прыгать на амбразуру. Система должна приводить к власти дальновидных, мудрых и порядочных, печатать книги талантливых, позволять много зарабатывать трудолюбивым и одаренным, а за границу выпускать всех желающих. Тогда и психология изменится!

А поклонникам абсолютного монарха следует объяснить, что если сталинский режим будет реанимирован, их первыми поставят к стенке. Ведь Сталин уничтожал не врагов, которых, если честно, почти не было (Троцкий, кто еще?), а преданных ему людей. Надо втолковать Нине Андреевой, что она женщина наивная и очень рискует: крики «Да здравствует Сталин!» никого не спасли.

Не спасут и впредь.

1989 г.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Без преувеличения: Россия имеет ПОСЛЕДНИЙ шанс не свернуть с пути реформ (как бы они ни шли, как бы их ни называли и как бы к ним не относились) и стать государством с нормальной социально-экономической системой. Не капиталистическим или социалистическим государством, духовным или бездуховным, прозападным или славянофильским (не стоит сейчас оперировать этими совершенно не актуальными терминами), а именно НОРМАЛЬНЫМ. Сталинисты утверждают, что с реформами Россия перестала быть великой. Чуть. Россия всегда была великой и осталась. Она давала миру гениев, выигрывала войны, осваивала космос, открывала земли и моря. Но в ней не было нормальной СИСТЕМЫ. Естественной системы. Все делалось неестественно, с запредельными условиями, с немислимыми потерями людскими и затратами материальными. Что называется экстенсивно. В отличие от «бездуховного», но естественного, расчетливого, интенсивного Запада. Россия должна нормально работать, мужчины должны нормально зарабатывать и содержать женщин, солдаты, если, упаси господь, придется воевать, должны одерживать победы, не идя по тропам своих товарищей... Сталинисты

возмущены нынешним состоянием страны: обнищание людей, бегство капиталов за границу, падения производства. Но люди мало мальски разбирающиеся в нашей экономике еще в самом начале перестройки прогнозировали такой ход реформ, поскольку экономику настолько монополизированную и замилитаризованную невозможно реформировать без шока. Так называемый плавный переход еще более усугубляет ситуацию. Пример — Украина. Именно коммунисты и лично Сталин виноваты в том, что они построили такую систему, которую невозможно безболезненно трансформировать. Именно коммунисты и лично Сталин, запретив частную собственность, выслав из страны или уничтожив лучших представителей российского предпринимательства (последних — во время разгона НЭПа) довели до того, что сейчас во главе бизнеса в основном партхозноменклатура или примитивные жулики. Вина же демократов в том, что они не сумели россиянам это толково объяснить, а если объясняли (Гайдар, Селюнин, Бунич, Шмелев, Черниченко), то на страницах средних и толстых монографий, солидных журналов, «Литературной газеты», недоступных широкому читателю. Демократия в России оказалась подставленной. Среди демократов не оказалось хорошо подготовленного идеолога, оратора. В отличие от состряпанного коммунистами еще при Горбачеве клоуна и фигляра Жириновского, у которого попросту хорошо подвешен язык и который говорит понятно для люмпенизированной части населения, процент которой в России всегда был, увы, высок, а со сменой формации еще более увеличился. Старые и новые коммунисты четко воспользовались политической беспомощностью Гайдара и команды, полной ораторской несостоятельностью и замедленностью Ельцина, свалив на демократов то, что сами нагородили во главе со своими вождями и персонально Сталиным.

Демократы должны сосредоточиться, в частности, на работе, которую коммунисты называют идеологической. А именно — растолковывать электорату, что реанимация диктатуры приведет к следующему: западные страны вновь сочтут нас своими противниками и возобновляют «холодную» войну с последующей гонкой вооружений; нас вынудят, создавая паритетное оружие, вкладывать огромные денежные средства в ВПК (гораздо большие, чем и так не маленькие сейчас) и денег на науку, культуру, образование, медицину, экологию не останется, не говоря уж о том, что, население обнищает еще больше; все будет создаваться мобилизационным трудом, и мы технологически, качественно еще больше отстанем от передового мира, поскольку принудительный труд менее производителен, чем свободный, а с этим согласны сами коммунисты, потому что предпочитают ездить на «мерседесах», а не на «запорожцах», то есть пользоваться тем, что создает частник, а не их коммунистические национализированные механизмы, и, кстати, еще сталинский дружок Ленин утверждал, что «победит тот строй, в котором выше производительность труда»; пропадет все то, что началось при гласности: свобода слова и печати, свобода передвижения, более-менее сносные телевизионные программы (впрочем, на это, полагаю, поклонникам Джугашвили наплевать); на энтузиазме сейчас не загощишь людей на стройки и поля, не поставишь в строй, придется воссоздавать карательную систему. А она пожрет всех: противников диктатуры и сторонников.

1995

Алексей Калинин

★ ★ ★

Слава тебе, боль, пронзившая всех:
Умер вчера сероглазый генсек.

За полосами косыми дождя
Умер, в сознание не приходя.

Верный товарищ, упорный марксист,
Был несгибаем и совестью чист.

Партию кто поведет завтра в бой,
Кто ее курс начертает прямой?!

В душах сияет бездонный пропил,
Видишь, вот я и газету купил:

Дарит улыбку он радостно в ней,
В рамке, что дула стального черней.

Я комсомолочке слезы утру...
Метко наемник стрелял ЦРУ.

Будни грядущие тонут во мгле;
Нет дорогого вождя на земле.

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю	5
----------------------	---

Баден-

Владимир КЛИМЫЧЕВ. Рыбки	9
Ханс БОЛАНД. К. А. Л. <i>Стихотворение</i>	12
Игорь ПОМЕРАНЦЕВ. Любимцы господина Фабра. <i>Радиокомпозиция</i>	14
Юрий ШИЛОВ. Августовская ночь. <i>Стихотворение</i>	24
Кирилл КОБРИН. Василий Васильевич/Людвиг	25
Игорь ПАВЛОВ. «Ну куда же он делся, отроде слуги...» <i>Стихотворение</i>	31
Валерий ХАЗИН. A Midsummer Night's Dream (Краткая история литературы)	32
Марат БАСЫРОВ. «Вот ты и уехала, оказав тем самым кому-то услугу...» <i>Стихотворение</i>	35
Ры НИКОНОВА-ТАРШИС. Экология паузы	36
ФИЛИППОВ Игнат. Фрагменты	43
Владимир СИМОНОВ. Прозаическая поэма	45

-Баден

Александр ЛЕОНТЬЕВ. Из книги «Сад бабочек». <i>Стихотворения</i>	49
Юрий ЯКИМАЙНЕН. Из романа «Авантюрюга». 4	56
Людмила КЛЕМЕНТЬЕВА. <i>Стихотворения</i>	63
Михаил ОКУНЬ. Назидательные новеллы	65
Дмитрий УНЖАКОВ. <i>Стихотворения</i>	74
Владимир САДОВСКИЙ. Три истории	79
Алексей МАШЕВСКИЙ. Ночи. <i>Стихотворения</i>	84

Висбаден

Светлана БОГДАНОВА. Голубая повесть	89
Алексей КИРДЯНОВ. Из книги «Ночь». <i>Стихотворения</i>	100
Артур КРОТОВ. Ночная бижутерия	104
Юань ЧЖЕНЬ. Встреча с Совершенной. <i>Ода</i> . <i>Перевод с китайского, вступительная заметка</i> <i>и комментарии Александра Сторожука</i>	114

Карлсбад

Михаил ИВИН. Из дальней дали	121
Д'ОНУА. Лесная лань. <i>Перевод с французского и</i> <i>вступительная заметка И. Ницовой</i>	143
Владимир САДОВСКИЙ. Договорить до конца	165
Алексей КАЛИНИН. «Слава тебе, боль, пронзившая всех...» <i>Стихотворение</i>	175

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Приглашая Вас, «ТЕННИС-КЛУБ» ставит перед собой следующие задачи:

- организация отдыха членов клуба, их семей, а также приглашаемых гостей;
- организация теннисного сервиса для членов клуба;
- расширение личных и деловых контактов членов клуба.

Для решения этих задач «ТЕННИС-КЛУБ» предлагает:

- все шесть кортов стадиона;
- душевые, сауну, кафе, магазин;
- соревновательную программу (турниры, матчи и т. д.);
- тренировочные занятия и другие мероприятия.

Вступившие в клуб пользуются следующими правами:

- играть на клубных кортах в любое время;
- пользоваться бесплатно сауной;
- получать бесплатно консультативную, учебно-методическую и практическую помощь от администрации и тренеров клуба по вопросам тактики и техники тенниса, подбора и ремонта теннисного инвентаря;
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в клубе, соревнованиях, встречах и т. д.;
- участвовать в собраниях клуба с правом голоса.

Основанием для приема в члены клуба является рекомендация двух постоянных членов клуба либо его администрации.

Лица, внесшие значительный вклад в развитие клуба, оказывающие клубу финансовую, материально-техническую, политическую поддержку, становятся почетными членами клуба. Почетные члены клуба пользуются всеми услугами в первоочередном порядке и имеют право на бесплатное размещение рекламы на территории клуба.

Зимой — аренда крытых благоустроенных кортов.

Издается собственный журнал «Теннис-клуб».

«ТЕННИС-КЛУБ» ждет Вас!

Контактные телефоны: (812) 235—1791, 233—4864

БАДЕН-БАДЕН

Люблю вас, Баденские тени,
Когда чуть явится весна
И, мать сердечных снов и лени,
Еще в вас дремлет тишина;

Когда вы скромно и безлюдно
Своей красою хороши
И жизнь лелеют обоюдно
Природы мир и мир души.

Кругом благоухает радость,
И среди улыбчивых картин
Зеленых рощей блещет младость
В виду развалин и седин.

Теперь досужно и свободно
Прогулкам, чтению и мечтам:
Иди — куда глазам угодно,
И делай, что захочешь сам.

Уму легко теперь — и груди
Дышать просторно и свежо;
А все испортят эти люди,
Которые придут ужо.

Тогда Париж и Лондон рыжий,
Капернаум и Вавилон,
На Баден мой направив лыжи,
Стеснят его со всех сторон.

Тогда от Сены, Темзы, Тибра
Нахлынет стоком мутных вод
Разнонародного калибра
Праздношатающийся сброд:

Дюшессы, виконтессы, леди,
Гурт лордов тучных и сухих,
Маркиз Глаголь, принцесса Веди, —
А лучше бы не ведать их;

И гофкикиморы, и мифы
Мифологических дворов;

И кавалеры-апокрифы
Собственноручных орденов,

И рыцари слепой рулетки
За сбором золотых крупиц,
Сукна зеленого наседки,
В надежде золотых яиц;

Фортуны олухи и плуты,
Карикатур различных смесь:
Здесь важностью пузырь надутый,
Там — накрахмаленная спесь.

Вот знатню так и пышет личность,
А если ближе разберешь:
Вся эта личность и наличность —
И медный лоб, и медный грош.

Вот раздурмяненные львицы
И львы с козлиной бородой,
Вот доморощенные птицы
И клев орлиный наклейной.

Давно известные кокетки,
Здесь выставляющие вновь
Свои прорвавшиеся сетки
И допотопную любовь.

Всех бывших мятежей потомки,
Отцы всех мятежей других,
От разных баррикад обломки
Бульжных буйных мостовых.

Все залежавшиеся в лавке
Невесты, славы и умы,
Все знаменитости в отставке,
Все соискатели тюрьмы.

И Баден мой, где я, как инок,
Весь в созерцанье погружен,
Уж завтра будет — шумный рынок,
Дом сумасшедших и притон.

П. А. Вяземский